

# ВРЕМЯ ИМБИ 79 1984



Гл.17. А.Толстой  
Бабочки

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С РОМАНОМ "БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ". РОМАН НАПИСАН 25 ПИСАТЕЛЯМИ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ОПЫТ В ИСТОРИИ РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Гл.3. А.Свирский  
Петька Козырь



Гл.1. А.Грин  
Странный вечер



Гл.22. В.Каверин  
Возврат пространства



Гл.9. И.Бабель  
На биржу труда!



Гл.19. М.Зощенко  
Златогорская, качай



Гл.18. М.Слонимский  
Сумасшедший дом



Гл.20. В.Инбер  
Дошел до ручки



Гл.5. Л.Леонов  
Плохие последствия



Гл.21. Н.Огнев  
Павлиньи крики

# **ВРЕМЯ И МЫ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ**

*Десятый год издания*

**Выходит один раз  
в два месяца**

---

**79  
1984**

**НЬЮ-ИОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

<b>ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД</b>	<b>КАРЛ ПРОФФЕР</b>
<b>МИХАИЛ КАЛИК</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН</b>	<b>ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)</b>
<b>АСЯ КУНИК (отв.секретарь)</b>	<b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>
<b>ИЛЬЯ ЛЕВКОВ</b>	<b>ЕФИМ ЭТКИНД</b>
<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>	

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX  
FRANCE

*Представители журнала:*

**Англия**      **Александр Штрмас**  
**Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,**  
**Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND**

**Западный**      **Juscwa Mitchijew**  
**Берлин**      **Husaiten Str. 60, 1000 Berlin 65**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

*Лев ТИМОФЕЕВ*  
Москва, Моление о чаше. . . . . 5  
*Владимир МАТЛИН*  
Время Нормана Грина. . . . . 45

### ПОЭЗИЯ

*Яков РАБИНЕР*  
Бежали буквы, вспыхивая блицем. . . . . 61  
*Лия ВЛАДИМИРОВА*  
Из европейского блокнота. . . . . 68

### ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

*Владимир ЛЕФЕВР*  
Алгебра совести, или две этические системы. . . . . 79  
*Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ*  
Сумерки богов. . . . . 89  
*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*  
Письма в Россию. . . . . 97  
*Дора ШТУРМАН*  
За вашу и нашу свободу. . . . . 113

### НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

*Алекс ДЕ ЙОНГ*  
Распутин глазами английского писателя. . . . . 135

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Яков АЙЗЕНШТАДТ*  
Три новеллы московского адвоката. . . . . 145

### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Большие пожары. Роман 25-ти писателей. . . . . 160

### ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Политическая сатира Бориса Мухаметшина. . . . . 234

### Памяти Карла Проффера

*Саша СОКОЛОВ*  
Альфа Ардиса. . . . . 242

Лев ТИМОФЕЕВ

## МОСКВА. МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

Пьеса-диалог в трех действиях

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:** ОН, ОНА.

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

**Квартира. Она лежит на тахте,  
укрывшись с головой.**

Он (*входит*). Ау! Спишь? А почему свет горит? Отдерни шторы — еще солнце светит, белый день, а ты спишь — и свет включила. Посмотри, на щеке отпечаталась подушка... Ты что, с утра, что ли, так?.. Ну что ты молчишь? У тебя есть совесть? По целым дням лежишь, лежишь... Что ты теперь на меня уставилась? Тебе на все наплевать: включила свет — и спит. В коридоре горит, на кухне две лампочки, в ванной горит... Ну что, что ты смотришь?

Она. Хорошо было, тихо... Пришел — и наговорил, наговорил.

Он. Ну вот я выключил — что, стало темнее? Ну что ты сидишь?

Она. Жду, когда опять будет тихо... Будешь ужинать?

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737-7061

О н. В чем я неправ? Сегодня был жаркий, душный день — у тебя все закрыто, законопачено... А ты посчитай, сколько лампочек горело и плита на кухне.

О н а. Ах, миленький, на лампочках не сэкономишь. Не нужно было второго ребенка рожать, я говорила. Но ты добренький — на словах, конечно... Пусть будут дети, много детей... Гуманист... У тебя покурить нечего?

О н. Ты не заметила? Уже два месяца, как я бросил курить... С тобой что-то происходит в последнее время, да? Вчера, сегодня... Но сегодня ты особенно... Что-нибудь случилось?

О н а. Да нет же, ничего не случилось. Это ты пришел и начал скандалить. Послушай, попугай на кухне повторяет твой монолог,

О н. Я начал скандалить? Да я не умею. Я просто назвал вещи своими именами. За день ты сколько нажгла?

О н а. А ты посчитай... включи все — и посчитай,

О н. А ведь я шел домой в прекрасном настроении. Я шел и даже твердил строку: "Я шел домой в прекрасном настроении..." Верно, есть какая-то музыка? Может быть, я снова начну писать стихи? Я шел домой в прекрасном настроении, Но потом я поднял голову и увидел наши окна — четыре окна, и все закрыто, занавешено... Прихожу сюда — ты спишь, всюду свет горит... Ты мне, подруга, что-то не нравишься. Ты что, злая или просто сонная? Ты немного отекала, да? Опять голова болит?

О н а. Тебе-то что за дело?

О н. Да как сказать... рядом живем, из одной посуды едим, иногда одним одеялом укрываемся.

О н а. И живи себе... Публицист. Выступил, как дело сделал, Теперь отдыхает... Отстань... Можешь вот посуду помыть: Горячей воды нет, а я что-то коченею... Я вообще все время мерзну...

О н. Ладно, давай помиримся. Я же к тебе торопился, думал, ты меня ждешь, топится очаг, варится похлебка, чисто, уютно, — как жена должна встречать мужа? А ты спишь, свет горит... Ты бы хоть спросила, почему я шел

в хорошем настроении... Вот, я даже принес коньяк, — посмотри, армянский, твой любимый... Вот гора Арарат, сюда причалил Ной во время потопа... Давай причалим... Вокруг потоп, денег нет, одни долги, чем отдавать неизвестно... Знаешь, сколько у меня долгов? У меня, у меня — тебе на наши долги наплевать, — лежишь себе... Да и лежи, только бы в радость — нет же, злая... Когда ты злая, я совершенно теряюсь, чувствую себя особенно одиноким... Давай высадимся на эту гору. На горе Арарат вырастает виноград... Ну давай напьемся и помиримся... Я же, ей-богу, не хотел.

О н а. Да пошел ты... Я и не ссорилась с тобой. Очень ты мне нужен. Это ты вышел и, как баба, стал скандалить... Господи, вот невезуха-то в жизни! Я, если хочешь знать, ждала тебя — мы же хотели что-то делать, хотели обои клеить, детей третий день у матери держим, Дашка третий день школу пропускает... Я уж без тебя хотела начинать... а ты... за весь день даже не позвонил. Ты посмотри, в каком сарае живем, Людей позвать стыдно.

О н. А знаешь, наше дело, кажется, разворачивается. Я получил крупный заказ: полная сумка, и там еще полсотни книг. Мы хорошо заработаем... Смешно: я становлюсь модным переплетчиком... А здесь действительно нужно прибраться. Ведь я могу принимать на дому — так солиднее, чем бегать по чужим квартирам, верно? Мне как-то не по возрасту, я все-таки известный советский журналист...

О н а. В прошлом... в прошлом известный журналист, а ныне известный переплетчик.

О н. А тебе — сказать обязательно.

О н а. Что же такого? Известный переплетчик, известный сапожник, известный портной... Кто ты будешь такой?

О н. В прошлом, но известный, "Тот самый?" Тот самый, И вдруг — здрасте: "Ножи точим, стекла вставляем, книги переплетаем!.." Лучше здесь принимать... Кого позовем?

О н а. Кого позовем?

О н. Да... Ты говоришь, людей позвать стыдно.

О н а. Никого я звать не хочу... А самим жить не противно?

О н. Как ты можешь сидеть с закрытыми окнами? День был такой душный, смотри, я все раскрыл, и никакого движения воздуха.

О н а. Я все время мерзну.

О н. Мне нужно подвигаться, я должен быть в форме. *(Делает несколько упражнений на шведской стенке.)*

**Она** пытается поймать моль.

В доме полно моли. Опять что-нибудь сожрет.

О н а. Это самец летает... Он просто летает, он не жрет... Дашка где-то вычитала: самец летает, а жрет самка... Самка не летает, она жрет... ма-ленький такой червячок, самочка, сидит где-то и жрет. Самцы летают, а самки жрут.

О н. Ладно, делаем уборку и ремонт. Надо все перетрясти. Завтра встанем пораньше, зарядочку с гантелями, холодный душик...

О н а. Ну понес, понес... Помолчи... Готова линия поведения, запланировал... И все планы, планы... и ничего этого не будет... целый год клеим.

О н. Вот странно, стоит мне нацелиться на какое-нибудь дело, как ты сразу встаешь на пути со своим вечным сомнением, со своим вечным нытьем. Я не пойму, мы как-то с тобой отдаляемся что ли друг от друга? Что происходит? Что я должен сказать, чтобы ты со мной согласилась?

О н а. А ты не строй планы — как получится, так и будет,

О н. Да нет, зачем же — решено. Завтра клеим обои и приглашаем гостей, Пора изменить жизнь, а то нас моль сожрет, Я все время твержу: мы оторвались от людей, живем очень одиноко... Раньше — помнишь? Каждый вечер кто-нибудь заходил обязательно, благо в центре живем... А теперь?.. Я вижу, тебе не хватает общения...

О н а. Раньше заходили, было общее дело, общие разговоры. Теперь у всех свои дела. А у тебя дело какое?

О н. А может быть, сами пойдем куда-нибудь в гости? Плюнем на все и поедем завтра же... Или к себе позовем... Ну, скажем, пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичкин, Севочка Лисичка... Ты чувствуешь, мое мышление

как бы ритмизуется: пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичка — как называется этот размер: та-та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та. Вот будет смеху, если я опять начну писать стихи.

О н а. Севочку приведешь, когда я подохну. Понятно? Тебе много раз говорили, что Севочка — подонок... Как ты можешь? Меня от него тошнит. Хватит, что ты принес его отвратительный запах... Чем это он душится?

О н. Разве? А ведь он, и правда, меня тут на машине подбросил... Ну хорошо, хорошо, давай сами куда-нибудь движемся. Мы должны жить по-новому. Ты посмотри на себя в зеркало: тебе нужно выйти отсюда, нужно в гости, В гостях ты всегда преображаешься, становишься живая, общительная, добрая, Пойдем куда-нибудь, а? Дети все равно у бабушки... Говори, куда пойдем. Нацелимся — и выполним. Ты реши, и мы пойдем, *(Уходит в ванную.)*

О н а. У нас телефон отключили, *(Как бы проверяя, берет телефонную трубку, но убеждается, что телефон до сих пор не работает.)* У нас телефон отключили!

О н *(выглядывая из ванной)*. Что ты говоришь? Дай, пожалуйста, полотенце.

О н а. Сам возьмешь,

О н *(появляясь в халате)*. Какая же ты злая: у тебя даже лицо изменилось, стало совсем чужое. *(Проходит в другую комнату и появляется в спортивном костюме, делает несколько движений карате.)* Принять душ — все равно, что заново родиться. После душа мне всегда хочется писать новую книгу... По рюмашке — и начинаем жить заново — все заново...

О н а. У нас телефон отключили,

О н. Когда отключили? Как? Ты с кем-нибудь разговаривала? Ты разговаривала — и отключили? Кто звонил? Когда ты узнала, что отключили?

О н а. Я сначала тоже испугалась...

О н. Но ты же понимаешь, что значит — отключили телефон.

О н а. У меня тоже сердце упало. А что? Что делают в этом случае? Ты знаешь, что в этом случае делают? Но нет, это ма-

ма звонила, а я трубку на кухне не положила — забыла. За чем-то пришла сюда, а на кухне трубку оставила, Станция отключила — так бывает. Мама потом приходила, обещала дозвониться в бюро ремонта. Пока не включили.

О н. Ты понимаешь, что говоришь? Как можно забыть? Ну как можно забыть выключить свет, забыть выключить плиту, забыть телефонную трубку? Как? Как?! Ты какой-то враг в доме. Два года ты палец о палец не ударила, чтобы облегчить нашу жизнь... лежишь, лежишь... Забыла... Пойми, все это плохо кончится.

О н а. Не кричи, пожалуйста, говори шепотом... Я целый день была совершенно больна... Утром, только ты ушел, явилась Дашина учительница с каким-то обследованием, — у меня сразу разболелась голова. Я ей улыбалась, говорила: у нас ремонт... выпроводила... А потом мама: она сегодня два раза приходила и пять раз звонила. Последний раз она позвонила и сказала, что у Танюши ангина. Я так расстроилась... Нам только этого сейчас не хватало.

О н. А я говорил, твоей маме детей отдавать нельзя — ни на три дня, ни даже на три часа.

О н а. Напиши про это статью в "Комсомольскую правду".

О н. Я еще раз говорю...

О н а. Да замолчи! Что же это за наказание такое! И ты еще требуешь третьего ребенка... Вот это видел?.. Ребенок заболел — спроси, не нужно ли чего, пожалей ее — она маленькая.

О н. Когда детей отдают в равнодушные руки...

О н а. Ах, какой заголовок! Репортаж из зала суда.

О н. Нет, ты в последние дни совершенно невозможная. Это ведь не только сегодня... Ты что-то скрываешь от меня? Ты постоянно чем-то раздражена... Может быть, ты завела любовника, и я тебя раздражаю?.. Что бы я ни сказал, что бы ни сделал, ты начинаешь вздорить... Вчера был скандал из-за разбитой чашки... позавчера — уже не помню из-за чего, но тоже был скандал, ты безобразно кричала на меня, пыталась драться — и при детях! Я понимаю, нам трудно: мне пришлось уйти с работы, мы выбились из привычного круга, нет денег,

но раньше мне казалось, что мы готовы к такой жизни, мы знали, на что идем... А теперь... Давай сядем и спокойно разберемся, что происходит. Пойми, человек не может жить в обстановке постоянного скандала. В семьях, где родители постоянно грубят друг другу, дети вырастают преступниками — это установленный факт. Давай помиримся и поужинаем, а?

О н а. Пожалуйста, но только все сам.

О н. А ты посидишь со мной?

О н а. Почему я никак не могу согреться?

О н а. А ты выпей рюмочку.

О н а. Может быть, потом, с чаем.

О н. А эта гадость, откуда в доме?! Ой, да сколько их!

О н а. Что еще?

О н. Портреты руководителей партии и правительства.

О н а. Как же ты меня испугал. Я думала — тараканы... Этот плакат Дашка принесла из школы, им на политзанятиях раздали. Первый класс — и политзанятия... Ей бы "У лукоморья дуб зеленый", а они — политзанятия. Ничего не смыслит, но в мозги забивается... Приходит совершенно перепуганная с этих политзанятий, спрашивает: война будет, да? В бомбоубежище жить будем, да? А этих миротворцев вот необходимо знать каждого по имени.

О н. Какая компания к ужину! Приятного аппетита. Я тоже здесь живу... Выброси их немедленно.

О н а. Ты что, выброси... Там ремонт, пусть здесь висят. Дашка их уже различает и радуется: это дедушка Андропов, это дедушка Алиев, это дедушка Черненко, это дедушка Устинов. А почему, говорит, все дедушки и нет ни одной бабушки? Она и в этой тоске ищет смысл и логику: дедушка есть, должна быть бабушка.

О н. Я прошу тебя, выброси. Искалечишь ребенка. Повесь ей Пушкина, Жуковского, А на этих она успеет насмотреться, когда вырастет.

О н а. А как выбросишь? Учительница велит. Ей у нее учиться. Начинать сражение? Я не могу с ребенком сражаться, это искалечит ее еще больше... Пусть... ничего, я потом подсуну Пушкина... У нас был Сталин, у нее — эти. Сказали бы

тебе тогда: выкинь!.. А сейчас они быстро понимают, что к чему, и эта компания дедушек у них без ореола... А ты знаешь, я сегодня ничего не ела. Может, мне и плохо оттого, что голодная? Сделай мне бутерброд.

О н. Нет, это кто бы послушал! Я целый день бегал, ты лежала, и я еще должен тебе подавать.

О н а. Какой же ты зануда. Я больна... Ладно, я сама.

О н. Ну уж давай сделаю... Ты ведешь порочный образ жизни. Питаешься беспорядочно, мало двигаешься. Надо рано вставать, делать зарядку... и ты меня прости, надо побольше работать.

О н а. Ну да, в первый год нашей жизни на день рождения ты подарил мне гантели, чтобы я была в форме... решено, встаем пораньше, гантельную гимнастику, холодный душ — начинаем новую жизнь... Если бы ты знал, как мне отвратительна твоя телесная жизнь, твоя гимнастика, твоя постоянная забота, чтобы быть в форме... Почему же так холодно?

О н. Двигаться надо, надо работать. Ну вот сегодня...

О н а. Я больна.

О н. Вот я и говорю, почему больна-то? Ты как-то выбилась из колеи, вот что. Почему ты ушла из своего журнала? Тебя ценили, хороший редактор, знаешь дело, хорошо пишешь — очень хорошо пишешь... Ну, ладно, ушла и ушла. Решила быть с детьми. Могла бы дома подрабатывать, дети не мешают... Ты хорошо лепишь из глины, твои игрушки — восторг! Ты начала и сразу получила тьму заказов — от знакомых, от малознакомых — почему перестала работать? Вон вся квартира недоделками забита...

О н а. Я больна.

О н. Да вот же я и говорю, почему больна-то...

О н а. А ты не говори, ты пожалей меня.

О н. Да мне тебя жалко, но помочь-то я чем могу? Ты скажи, я все сделаю. Хочешь, я сейчас начну клеить обои? Я люблю работать по ночам. Хочешь, помою пол на кухне?

О н а. Не мелькай перед глазами. Ничего не надо. Сядь. Ты просто пожалей. Посиди рядом. Молча... Что-то рука болит.

О н. Сижу рядом... ручка наша болит... Погладим нашу руч-

ку бедненькую. Может быть, все-таки закрыть окно? Мы ведь с тобой совсем одинокие — нам бы прижаться друг к другу потеснее, а ты все топорщишься... Вот что... сейчас мы выпьем коньячку и ляжем спать... Или нет, сначала ляжем, а потом выпьем коньячку, посидим, попьем чайку, Да? Ляжем? Мы ведь с тобой любим п о т о м посидеть, попить коньячку с чаем...

О н а. Не вяжись. Все, что ты любишь, ты любишь один, и тебе всегда наплевать, что люблю я,

О н. Неправда. Зачем ты меня нарочно обижаешь?

О н а. Тебя обидишь, как же! Ты не человек — чурбан. *(Передразнивает.)* "Что с нами происходит... что с нами происходит..." А ты все равно никогда не поймешь, что с нами происходит.

О н. Какой же я чурбан? Вот мы с тобой живем двенадцать лет, а мне тебя хочется так, словно мы вчера познакомились.

О н а. Заткнись, противно слушать. И всегда одно и то же. Хоть бы что-нибудь другое от тебя услышать... Все-таки где-то был, с кем-то виделся.

О н. Севочка...

О н а. Ну, конечно, Севочка... А еще? Ну хоть кто-то...

О н. Погоди, что он тебе? Севочка, какой бы он ни был, ищет мне работу — и находит. Этот заказ — весь через него... А заказ-то какой! Вот эти журналы — это директор гастронома. Какое знакомство, а?

О н а. Вот и расскажи: директор, человек...

О н. Директор — человек... *(Внезапно озабочен.)* Тихо! Вот что это звучит?

О н а. Да где же?

О н. Ну вот... как будто что-то включилось... Телефон? Нет... Такой звук... очень похоже, как микрофон фонит... Что за звук?

О н а. Звук оборванной струны.

О н. Думаю, телефон все-таки прослушивается...

О н а. Говорят, всех слушают... И наши скандалы они тоже слушают?

О н. Они все слушают.

О н а. Вот и расскажи им: директор гастронома... Заодно и я послушаю, А у него мяса заказать нельзя?

О н. Не знаю... подождем, что-нибудь сам предложит.

О н а. А что он предложит?

О н. Все что угодно, хоть билеты в Большой театр.

О н а. Жалко... такое знакомство — и денег нет.

О н. Ты все о своем... Вот комплект журнала "Мир искусства"... Ну ведь чем-то он расплатится — и спасибо, всему будем рады.

О н а. А сам он какой из себя?

О н. Маленький-маленький на высоких каблучках и вежливый, тихонький... Дома — музей: картины, мебель, фарфор... Вертит огромными делами, связи на самом верху...

О н а. Вот как люди живут.

О н. Сказал, что им с женой очень понравилась моя работа. Я, болван, подумал, что они книгу мою в самиздате прочитали, чуть не ляпнул... Но нет, ему нравится, какие я переплеты делаю... Личико маленькое, мизерное...

О н а. А жена? А что на жене?

О н. Жена... А черт ее знает... По лицу видно, что сука — наглая, злая... Что я, разглядывал ее, что ли?

О н а. Публицист, по лицу ему видно, а!.. Вот беда-то... Ты же ничего не видишь... Директор, жена... неужели не интересно? Поговорил бы, как живут, что думают... У них все есть... они-то хоть счастливы? Ничего не увидел,

О н. Вот ты посмотри, о чем бы мы ни начали говорить, мы тут же ссоримся. Если они нас слушают и записывают, это какая комедия запишется! Когда-нибудь ее прокрутят по радио: диссиденты... неприглядное лицо отщепенцев... обличительный документ страшной силы...

О н а. *(кричит)*. Да помолчи, скотина!

О н. Ты что? Ты... не надо так... Кругом все слышно... Я придумал! Поехали-ка мы завтра к Петьке Бабьегородскому на дачу. Поехали! Закатимся без звонка — и на целый день. Я знаю, он там — сидит попой на стуле, пишет очередную нетленку. Мы ему помешаем... Потомки скажут спасибо, да он и сам

будет рад... Поехали, ну, пожалуйста, поехали... Поехали — иначе мы здесь погибнем,

О н а. Поезжай... Как это у тебя все быстро получается: построил план, ту-ту... поехал.

О н. Ну да ведь тебе надо куда-то поехать, что-то делать надо — ремонт ли начать или уборку или спать лечь. Я не могу... Ты как-то выпала из круга жизни. Или напиться, что ли. Тебе налить?

О н а. Сиди. Ты все время мельтешишь перед глазами. От этого мелькания голова болит. Сиди.

Он. Да я сажу, Что дальше?

О н а. Ты шел домой, машину внизу видел? Они простояли целый день и теперь стоят.

О н. Ах вот оно что... Я совсем забыл, что ты чокнутая... Я же запретил тебе... Ну, стоят... А ты из-за этого на людей бросаешься. Я же говорил тебе, это не к нам. Они в соседнем доме кого-то водят... Я же говорил: не обращай внимания...

О н а. Так интересно же... Тебя нет, скучно, а они — вон, стоят... Давай купим подзорную трубу — мы будем знать их в лицо.

О н. Еще раз говорю: не подходи к окну, не показывай, что мы знаем. Не накликай беду.

О н а. Что мы знаем-то?

О н. Хотя бы свет гаси, когда смотришь... А сейчас мы ужинаем... Ну, подумаешь, машина стоит, два мужика сидят... Все те же два?

О н а. Сегодня три.

О н. Хорошо, три мужика... А мы ужинаем.

О н а. Три мужика и баба, Двое в машине, а двое вокруг прогуливались. Ты бы посмотрел, что за рожи — болотные, ржавые,

О н. Они в соседний дом, они там кого-то водят.

О н а. Стоят, кого-то ждут... Так же они ждали Регину, так же водили Скоробогатова... И к нам так же приедут...

О н. Приедут — и приедут, мы их увидим. Но мы ничего не можем изменить... Ты бы не торчала у окна... посмотри лучше, у тебя помойка в квартире... Ты, милая моя, лентяйка —

и больше ничего, Все это у тебя форма лени, повод ничего не делать и целый день лежать... Ты сама себе напридумывала страхов, чтобы бездельничать.

О н а. И прекрасно! Тебе-то что от меня надо? Живешь — и живи.

О н. Я и живу — в помойке. Дышать же нечем, всюду пыль. Пыль прямо комками лежит — в углу, в коридоре...

О н а. Это не пыль, это собачья шерсть... Твоя собака — возьми и подмети.

О н. А где собака? Ты и собаку замучила — кормить забываешь. Бедное животное... Чапа, ко мне! Чапочка....

О н а. Собаки нет. Ее мама забрала.

О н. О Господи! Твоя мамочка... я же просил... детей, собаку... Я...

О н а. Конечно, у тебя все есть. Ты хорошо живешь: где-то ходишь, с кем-то разговариваешь... книги, люди, сигареты "Кент"... А я сижу здесь, как в сарае,— дети, стирка, уборка, плита — свихнешься... Твоя рукопись под матрасом... Роскошный тайник нашел... Вот идиот. Хоть бы в кино посмотрел, в детективах: первое, куда лезут при обыске,— под матрас... Надо же, спрятал! У Регины детей обыскивали: пришла специальная тетка, раздела их донага — и детей, и саму Регину... У Скоробогатова крупу на кухне рассыпали — что-то в крупе искали... А ты — под матрас...

О н. А куда, по-твоему?

О н а. Не знаю... надо подумать.

О н. Вот интересно, я уже оделся, взял в руки зонтик, пошел... Но ты говоришь: "Стоп!" — и я остановился... стою... И так во всем.

О н а. Регину они избили перед арестом, а Скоробогатова, Ванечку Скоробогатова... просто убили в парадном... Я боюсь... я человек слабый, я боюсь... Я боюсь темноты, темных окон... шорохов на балконе... Я боюсь звонков в дверь... я вздрагиваю и смотрю в глазок и всякий раз боюсь, что пришли за тобой. Это жизнь? А когда ты уходишь с собакой, я боюсь, что ты не вернешься... я все время жду, жду тебя и думаю, если не вернешься, куда они денут собаку, где ее ис-

кать, — а где тебя искать, я не думаю... А сны? Мне говорят во сне: все, он убит... и я иду, тащусь, еду куда-то и жду, что вот за тем деревом, домом, поворотом я увижу тебя — то, что от тебя осталось, и знаю, что увидеть это — это конец... а просыпаюсь — и все продолжается — еще не конец... Регина... пара статей в эмигрантском журнале да письмо в политбюро — и три года... А тебе за твою книгу, уж, как минимум, влепят семь плюс пять, если вообще не прихлопнут в парадном или на улице... Зачем ты полез в это? Сидел бы в своей газете... Почему ты ушел из газеты два года назад? Никто не знал, что вышла книга. Тебя никто не увольнял, ты сам, сам поторопился. Ты говорил, что могут пострадать друзья. Теперь ты со значением заявляешь: "Мне пришлось уйти..." Рассказывай кому-нибудь. Ты бы и теперь спокойно работал. Но ты уже не мог. Ты подпрыгивал от нетерпенья... Еще бы! Подумать, какое великое дело ты совершил: ты всю жизнь врал, врал, врал... и вдруг впервые сказал правду... вылез из дерьма и обрадовался... Всю жизнь ты был полным ничтожеством — и вдруг что-то удалось... Да ты просто взбесился от радости. Разве можно промолчать, что это ты, ты, ты такой смелый и талантливый? Пророк!.. А Регина говорила, надо было подписаться псевдонимом... Но ты — нет. Ты — пророк... Ты — пророк, а пророк не приходит под псевдонимом... За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают?.. Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: "Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован..." Вокруг тебя сияние... ты говоришь стихами... А как же я? А дети?

О н. Ну что ты, миленькая, ну что ты, родненькая, ну не надо, остановись, успокойся, пожалуйста...

О н а. Я тебе тысячу раз говорила, не лезь, не успокаивай меня. Если бы я могла, я была бы спокойна и без твоих идиотских наставлений... Мы оторвались от той, знакомой нам жизни, а другой не оказалось.

О н. Ты пойми, псевдоним — бессмысленно: вычислить автора — пару пустяков... Мы же с тобой много раз обсуждали. Что опять?

О н а. Я знаю... обсуждали... Дай еще сигарету... Какая сила ума, ясность, логика, талант. Как все раскрыл, обнажил, показал... А мы?.. Да, это нечеловеческая система... но мы-то люди, нам в ней жить, в этой системе. Детей растить. Ты можешь что-то изменить? Кому чего ты доказал?.. Ребята приходили, восхищались. Ну повосхищались, пообсуждали, сколько тебе влепят за твою восхитительную работу — и все, не ходят, У них свои дела, у тебя — свои.

О н. Ну не надо, дружок, — все будет хорошо.

О н а. Дай сигарету... Будет? Ничего не будет. Чего ждать? Как-то будущего не стало.

О н. Ну зачем ты так говоришь? Мои книги — это ваше будущее. Пойми, если меня здесь посадят, там, за границей, это привлечет внимание к моим книгам — будут тиражи, будут переводы — будут и гонорары. Если меня здесь посадят — это реклама... Я уверен, если меня посадят, вы будете хорошо жить, будете прекрасно обеспечены — ведь есть же каналы помощи, приходят посылки, люди оттуда приезжают... Ведь можно же...

О н а. Замолчи! Да замолчи ты, пожалуйста... Как ты можешь высчитывать? Это нельзя высчитывать... Ты не думай, что нам будет хорошо. Ты не имеешь права думать, что нам будет хорошо. Мы подохнем, и ты идешь на это. Ты должен идти на это сознательно, должен понять, что ты нами пожертвовал... Может быть, тогда ты что-то поймешь.

О н. Как же я устал от твоих постоянных истерик. Мне нигде не страшно, мне дома страшно: скандал за скандалом... Ну что ты навалилась на Севочку? Ну да, он ничтожный, жалкий, может быть, он и стучит — даже наверняка стучит, стучит — и шут с ним совсем... А мне скрываться не от кого да и не за чем. Я чувствую себя спокойно и уверенно... Но вот здесь, дома, я проваливаюсь. Мне не на что опереться, у меня за спиной пусто, — тебя нет, я не прикрыт с тыла... И самое печальное, ты сама не понимаешь, что ты хочешь. Скажи, что, что?

О н а. Я хочу жить нормальной, спокойной жизнью,

О н. Книга вышла, дело сделано — что ты хочешь теперь? Чтобы я выступил с покаянием? чтобы вернулся в газету? Что? Что тебе нужно от меня? Хочешь, давай уедем за границу. Нас выпустят, я уверен, — нам даже предложат, как предложили Рыжему... Он уехал... Хочешь? Ты скажи мне, чего ты хочешь? Скажи, я сделаю,

О н а. Жить тихонечко, спокойно, чему-то радоваться,

О н. Живи... живи спокойно. Я тебя уверяю, что ни тебе, ни детям ничего не грозит — не больше, чем вообще всем в этой стране... Но ты должна понять, что книга уже написана, написана — и вышла в свет, и это уже нельзя изменить.

О н а. Ой, да написал — и прекрасно. И живи. Не строй планы. Как получится, так и получится... До чего доживем, то и случится. Ты думаешь, что ты сам хозяин своей жизни, что ты великий стратег, что ты всех переиграешь — ты готов: там тебя напечатали, здесь тебя арестуют, там поднимется шум, здесь появятся деньги... А семь лет? Или даже двенадцать? Ты к ним готов? Двенадцать лет день за днем, день за днем, — да ты их не представляешь, эти д в е н а д ц а т ь лет... Жизнь пройдет — день за днем... Ты храбрый такой — впрыгнул в эти двенадцать лет, и выпрыгнул обратно, к нам, сюда, в эту жизнь. Герой-молодец, И мы прекрасно прожили эти годы, заморозились, застыли как есть и ждем твоего возвращения — ты вернулся, и все ожило, все по-прежнему: Танька маленькая, Даша все запоминает этих по именам... Да пойми ты, что пройдет жизнь. Дашка через двенадцать лет станет взрослой женщиной, а Танюша будет старше, чем Дашка сейчас... Ты готов, что они вырастут без тебя?.. А мне будет пятьдесят. Сразу... Жизнь утечет... Куда ты вернешься? Если вернешься... И ведь жить надо день за днем. И дети что-то должны понять, принять и пережить этот ужас. Они готовы? Сколько надо сил... Ты-то готов... а они? Маленькие, слабенькие... Мы должны быть готовы к этому несчастью, Осталось только одно: ждать этого несчастья. Я не могу с этим смириться! Я не могу думать, что впереди — только несчастье. Это выводит меня из себя. Я не могу! К этому надо как-то под-

готовиться, что-то еще понять... А ты лезешь, торопишься, выстраиваешь планы, надеешься обыграть...

О н. Знакомая философия: Лао Цзы в переводе Льва Толстого, твоя любимая книга "О пользе ничего-не-делания" так она называется? Ты что-то совсем расклеилась. Будущего у нее нет... А настоящее? Настоящее у тебя есть? Или дети, я, твоя жизнь сегодня — всего этого нет? А может быть, подруга, ты просто лентяйка, и это главная причина, а все остальное лишь поводы... Помнишь, пока мы жили с моей матерью, ты говорила, что не можешь хозяйничать на чужой кухне? Мать уже давно умерла, и эта кухня уже давно твоя. Посмотри на нее: у матери был порядок, а у тебя?... Ладно, дело не в кухне. Ты просто не желаешь крутиться. Мы живем на гроши, но сегодня утром я выкинул из холодильника рублей на десять протухших продуктов...

Она. О, посчитал ведь!

О н. А ты посчитай... Ты говоришь, что тебе нечего носить, но моль жрет твою шубу... Ты за все берешься, но ничего не доводишь до конца. Вот твои игрушки... Когда я только заикнулся этому директору о твоих игрушках — только заикнулся, — он сразу спросил: "Сколько штук? Сто, двести?" Он деловой человек. Это деньги, это дело, это отношения с людьми, связи — это жизнь; это, наконец, ягоды детям, ботиночки — новые, не поношенные, — это и тебе все, что нужно — и сегодня, и завтра... Но ты — нет. Ты не желаешь крутиться... О Господи, мне бы деловую бабу... У тебя нет будущего, потому что тебе не на что опереться в настоящем, да? Ты спрашиваешь, как жить в нашем положении? А как жить? Жить — это значит крутиться в любом положении, а ты крутиться не хочешь. Тебе лень, Ты встаешь в девять, в десять и плаваешь по дому... а по ночам читаешь... Утром Дашка ходит нечесанная до обеда. Хорошо, что ей во вторую смену, а то бы она и в школу ходила нечесанная и голодная; Танюшу ты вообще не умываешь... Тебе некогда, ты занята своими переживаниями...

О н а. Как же я тебя ненавижу, демагог проклятый.

О н. Правильно. Такая жизнь не дает и не может дать че-

ловеку удовлетворения. Ты злишься и срываешь зло на мне, на дочерях... Я тебе вот что хотел сказать: ты перестань срывать злобу на ребенке. Ты зачем каждый день лупишь Дашу?

О н а. Заткни свое поганое хайло! Это не твое собачье дело...

О н. Нет, мое. Девочка ходит постоянно в слезах... Я тебя предупреждаю, если ты при мне еще хоть раз до нее пальцем дотронешься...

О н а. Замолчи, подонок! Пророк вонючий... Пожалел, а?! Кто устроил всю эту жизнь? Пожалел, скотина... Так же ты и меня в постели жалеешь, насильник поганый... Мне с тобой спать, все равно, что в помойку лазить.

О н (*явно напуган*). Что это, дружок, с тобой... Ты успокойся...

О н а. Отпусти мои руки.

Он. Я не позволю тебе драться.

О н а. Какая мерзость...

О н. До чего же ты все-таки ничтожество. Тебе надо постоянно топтать всех вокруг — только тогда ты чувствуешь себя человеком.

Она. Да, я ничтожество... Это ты меня сделал ничтожеством... Пусти, насильник, пусти, животное... Теперь растяни меня здесь и изнасилуй — это на тебя похоже... Ну, пусти, я успокоилась... Ты видишь, я спокойна. Пусти, мне больно.

Он. Я не хочу находиться с тобой в одном помещении. (*Уходит.*)

Она. Иди, иди, и пусть они тебя прикончат в парадном!

*Конец первого действия*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

*Через два часа.*

Он (*входит на корточках*). Ку-ку!

Она. Как ты меня напугал!

О н. Давай помиримся... ладно тебе, я виноват, мир, а?.. Дождь кончился... какой-то тонкий аромат — где-то что-то цветет, не знаю, где и что... Открой окно, почувствуешь... Будем вместе переживать, одному плохо.

Она. Не вяжись... С какой стати я должна прощать твои мерзкие выходки? Тебе хорошо, ты погулял в скверике, подышал воздухом и успокоился... И хорошо. И сиди себе. А ко мне не лезь.

О н. Я ходил и думал, как это мы оказались у такой черты? Не понимаю. Разве жизнь не могла сложиться иначе? Надо сесть и подумать.

Она. Тебе делать нечего — вот и подумай... Ты унес сигареты.

О н. Увы, ты все выкурила — там было всего две или три, я выбросил пачку... Хочешь, я пойду разбужу соседей или на улице у кого-нибудь стрельну?

О н а. Сиди, у меня остался большой чинарик и два коротких в пепельнице.

О н. Прекрасная мысль: небольшая уборка... Люблю работать в полночь. *(Включает радио.)*

**Звучит тихая музыка.**

А знаешь, что делают эти, в машине? Они пьют и тискают свою девку. А может быть, и вовсе разложили ее на заднем сиденье.

Она. Ой, да перестань!

О н. Нет, правда. Ты ничего не понимаешь, ты идеалистка. Я же слышал, я проходил мимо и слышал, женский голос сказал: "Дайте мне пива — запить". А когда шел обратно, там была какая-то возня и та же дама произнесла очень томно: "Саня, ты дьявол..." Понятно? Убедилась? Это не за нами.

Она. Да я знаю, что не за нами... Смотреть за ними интересно: детектив. Вот они, легендарные герои ВЧК... Эти не за нами, будут и за нами. Скоробогатова такие же и убили — в подъезде бутылкой по голове.

**Музыка постепенно затихает. Звучат сигналы точного времени.**

**Голос диктора: "Голос Америки" из Вашингтона. Передаем выпуск последних известий..." И тут же включается мощная глушилка.**

О н а. Выключи, все равно ничего не услышишь.

О н. Да хоть два слова разобрать... Би-би-си — тоже глухо... Может быть, в мире что-то важное произошло — ишь, как плотно все перекрыли... От этих глушилок наш попугай начи-

нает биться в клетке... *(Выключает.)* Тишина, хорошо... В тишине займемся уборкой?

Она. Занимайся.

О н. Эта тряпка когда-то была моей любимой рубашкой.

Она. Постирай — я поглажу, и носи на здоровье. То, что сейчас на тебе, ничуть не лучше.

О н. Книги, книги... сколько же пыли на книгах. Половину надо загнать... Мои бедные родители всю жизнь покупали, покупали книги — история, социология, философия, — хотели, чтобы я был умным, свободным, надеялись, что хоть я пойму что-нибудь в этой нашей жизни — пойму, им расскажу... Я понял. Понял? Я ведь что-то понял?

Она. Понял.

О н. А они умерли... Ну и давай загоним эти книги. Клиент ищет энциклопедию Брокгауза — давай продадим нашу: ну зачем нам восемьдесят шесть томов, а он хорошо запластит...

О н а. Не трогай, пожалуйста, книги. Уж если совсем припрет... Как мне все надоело, я так больше не могу... Когда мы сделаем ремонт? Когда у нас будет десятка — купить шкафчик на кухню? Когда мы выбросим эти зассанные матрасы и купим детям новые кровати? Что же мы за несчастные люди. Я уже не могу видеть эти тряпки на окнах, засаленные обои, облупленные стены... Ты помнишь, что это за пятно в углу? Здесь лежал твой парализованный папа... три года... он лежал, уткнувшись лбом в стену — это была его любимая поза... А эти брызги на обоях? А эта тахта — протертая, продавленная... Ну, я еще могу понять, почему у нас сейчас нет денег, но почему раньше-то мы были нищими? Мы были нищими и тогда, когда оба работали и зарабатывали не хуже других. Всегда только-только, всегда тянулись, тянулись... Всегда стоишь, высчитываешь перед каждой тряпочкой, перед каждой вещичкой... Почему?... Живем... Дети — нищие, я — старая, злая, нищая баба.

О н. Да... надо бы включить пылесос — ночь, боюсь разбудить соседей, А без пылесоса — не уборка,

О н а. Тряпки старые, колготки дырявые выкинуть страш-

но — вдруг пригодятся. И складываю, и складываю... Психология нищеты — и понимаю, а выкинуть не могу.

О н. Нищета... ты нищая!.. А вокруг? Все тянутся в ниточку: или подрабатывают, или подворовывают, спекулируют, берут взятки... кто как может... Закон социализма: не украдешь — не проживешь.

О н а. А мне наплевать. Воровать? Воруй: у тебя дети... Да и воровать не обязательно. Вон Бабьегородский написал пьесу, где старушки молятся на портрет Ленина — всем театрам велено поставить. А ты что пишешь?

О н. Бабьегородский врет, — ты хочешь, чтобы я тоже врал?

О н а. Соври, если иначе заработать не можешь.

О н. Старушки! Пожалуйста, у меня в книге те же самые старушки — и тоже на портрет Ленина молятся. Да мы их вместе и видели, этих старушек, — и ты была с нами, помнишь? В той деревне, в очереди за хлебом.

О н а. У тебя! У тебя в этом месте реветь от тоски хочется. Я сразу вижу и эту очередь, и лица этих старух... и запах кислый... А у Петьки очереди нет. Сплошной праздник. Никакой нищеты. Музыка... Так он и получил тысяч десять, а ты что получишь?.. Когда в прошлом году Петька привел своего сына, мне было так жалко наших замарашек, так стыдно за них, что я готова была их под кровать спрятать... Вошел заграничный принц в таких одеждах... и наши стоят в платицах из сиротского приюта.

О н. Слушай... все-таки... тогда, двенадцать лет назад, почему ты ушла от Бабьегородского?

О н а. Отстань ты от меня со своим идиотизмом, не вяжись ты ко мне, Что за беда такая?

О н. Все-таки надо было пройтись по воздуху... дождь, аромат...

О н а. Куда ж девать твою рукопись? Заморозим?.. Надо как-то завернуть... Пожалуй, вот так вот ничего. (*Прячет в морозильную камеру холодильника.*) Вот и все.

О н. Ты гениальная баба. Я без тебя — ноль... Рюмочку налить? Улыбнись... Хочешь, я начну резать обои?

О н а. Завтра ты поедешь и заберешь детей. Что-то мне не нравится Танюшина ангина. В прошлом году у Дашки точно так же скарлатина начиналась.

О н. Ты к полуночи приходишь в себя — и похорошела, и помолодела,

О н а. А правда, ночью в тишине и настроение другое... Только я устала очень... Что такое обои? Обои — это несбывшаяся мечта всей жизни... Уже и не сбудется... Тебе этого все равно не понять: ты был сытым ребенком. Вон с папой на футбольном матче, с мамой на Рижском взморье... И обои в доме всегда были аккуратно поклеены... Да уж не трогай, я этими фотографиями закрыла дыры в стене... А я мечтала о своей комнате, чтобы можно было поклеить обои и чтобы независимой быть... Как-то все не удается... Когда отец спился, мы с матерью скитались по актерским общежитиям — общежитие в Тамбове, общежитие в Ростове, общежитие здесь, в Москве... Я выросла в общежитии, и нам всегда кого-нибудь подсаляли или нас куда-нибудь подсаляли, Мы жили за занавеской: вот так мы с мамой, а за занавеской — другие люди... чужая жизнь... и единственная возможность остаться одной — лечь и с головой укрыться... Говорили шепотом, только скандалили громко... Помню чужую спину, обтянутую занавеской... спина как-то вдавалась в наш угол... шевелилась, ела, вставала, ходила, садилась, кашляла... и я смотрела на нее с неприязнью: она занимала часть нашего угла... она вела себя бесцеремонно... я и близко-то от занавески пройти боялась, чтобы и не шелухнуть...

О н. Когда ты рассказываешь о своем детстве, мне хочется спрятать тебя где-нибудь за пазухой и отогреть, как воробья. Помнишь, ты рассказывала, как мамин любовник обокрал вас в дороге, и вы побирались на вокзале — сколько тебе было? Лет восемь? Девять?

О н а. Двенадцать... Мы не сразу побирались... Мы тогда долго на вокзале ходили. Мама то к одному выходу бросалась, то к другому, то на площадь вокзальную выходила — все думала, что он нас потерял, разминулся... И уже несколько дней прошло, а мы все его ждали, и на лавках спали у са-

мого прохода, чтобы он нас не прозевал случайно, если придет искать... "Он не мог так поступить, — говорила мама, — он как-то разминутся с нами". И мы ждали, и не ели все эти дни, не на что было. Он и мамину сумочку уволок. Все уволок... И вот на четвертый, что ли, день мама посмотрела на меня и говорит: "Я попробую у кого-нибудь попросить для тебя еды". Мне так стыдно стало, так жутко, я так умоляла маму не просить, я говорила, что еще долго могу терпеть, только не надо просить... Но мама сказала: "Ты сегодня обязательно должна поесть..." Сама она только курила. Я ей окурки на площади около лавочек подбирала, она их ссыпала в обрывок газеты, сворачивала сигарки... они у нее тут же разваливались... И вот мы увидели у окна славную такую тетку, сидела она спокойно и ела, платок развязала, хлеб у нее, сало, огурцы были. Она так ножом аккуратно резала неторопливо, Мама интеллигентным голосом спросила: "Не занято у вас?" Села напротив и стала смотреть. А глаза у мамы такие страшные, жалкие, — я хоть и не видела их тогда, но знаю я мамыны глаза, знаю, какие они были... И мне так стало жалко тетку бедную. Она ведь сначала поглядела на маму легко, с интересом, а потом уже старалась не глядеть и есть стала неуверенно и не знала, куда деваться... И все это тянулось как-то очень долго, и мне показалось, что мама уже не попросит, но она подалась вперед и просительно произнесла своим интеллигентным голосом: "Простите, пожалуйста..." И я сразу ушла. Уже так стыдно стало... Весь проход был пустой — только мы и тетка... Но я быстро вернулась, думаю, что ж я маму одну в таком позоре бросаю, А тетка уже сумки свои собирает, увязывает быстро так. И ушла, как от заразных — бегом. А на подоконнике оставила кусок хлеба большой и огурец. Хлеб мягкий оказался, и я его как-то сразу съела, а огурец — горький, и его доедала мама, но так и не доела — такой он был горький... Тетка, оказывается, и копеечки какие-то дала... Мама обрадовалась, и мы стали побираться...

О н. Я, может, и полюбил-то тебя за твои рассказы о детстве.

Она. Что толку, дай лучше три рубля на чулки... Плесни-

ка мне еще... Кажется, скоро светать начнет, а ведь еще нет часа ночи... А правда, хорошо-то как... тишина... Заварим крепенького чаю...

О н. Регина была права. Она говорила, что тебя нужно каждый день привязывать к стулу и отпускать только тогда, когда ты расскажешь что-нибудь о своем детстве.

Она. Да я у тебя баба, конечно, неглупая и не бездарная... только вот хозяйка никудышная. Я ничего не успеваю: гора немытой посуды, гора детского белья... колготки Танюшины никак не соберусь заштопать...

О н. Да нет же, ты прекрасная хозяйка... ты очаровательная женщина и прекрасная хозяйка... Но ты немножко устала. Я тебе помогу. Тебе надо отдохнуть, куда-нибудь выбраться... И перестать смотреть в окна.

Она. Какой же ты все-таки долдон.

О н. Просто ты меня не любишь.

Она. А за что тебя любить?.. Я маленькая, слабая, неуверенная, и ты — как кувалда... Вот невезуха-то в жизни... Ты говоришь, работай... Я бы, может, и работала — писала бы, игрушки бы лепила, — но мне нужна поддержка, внимание, ласка... Я и так-то во всем сомневаюсь. Ты бы лучше посомневался со мной, мне бы легче стало... Но куда там! Тебе всегда все ясно, и ты прешь, и прешь, и прешь; ошибся, развернулся — и попер в другую сторону... И всем даешь советы, советы, советы... Ты просто раздавил меня. У меня никогда не хватало сил сопротивляться твоему долдонству... Может быть, ты и великий мыслитель, но все, что ты пишешь, все так же прямолинейно. Ты не даешь читателю посомневаться. Ты хочешь пробить лоб читателю... а ты его приласкай, пожалей... читатель-то — человек слабый... Я все время чувствую себя твоим читателем... Хочешь, я подчеркну все те места, которые, как мне кажется, должны быть прописаны, проговорены, подчеркну все то, что нужно еще объяснить?

О н. Послушай, подруга, а что это... ты мне какие-то гадости говорила? Да? Прямо-таки вспоминать страшно... Было?

Она. Ну и говорила. Я баба злая... А ты терпи, не взбрыкивай.

О н. Чего ж ты, моя бедненькая, злая-то?

О н а. А жизнь такая... Устала... Денег нет, муж долдон... Вот и сейчас — что лезешь к человеку? Если бы ты хоть что-нибудь смыслил, — ты бы понял, что, когда женщине под сорок, она не может хорошо себя чувствовать в кофточке, перешитой из шерстяных кальсон твоего покойника-папочки... Сегодня утром соседка из квартиры напротив приносила английское платье — ей нужно срочно продать... Ну что, я примерила, посмотрела в зеркало... и заревела. Стою и реву, как дура... на платье накапала... Смеешься... тебе смешно...

О н. Какие же мы с тобой слабые, ничтожные... Платье... Истины жаждем, ищем смысл жизни, стремимся вверх, вперед... и вдруг видим: платье не такое... и все. Где там истина? А вот она, истина: надо было сидеть в газете, сидеть в твоём журнале и копить на английское платье.

О н а. Надо было сидеть. Я всегда тебе говорила: надо было сидеть, надо было копить... А теперь что остается?... мама все удивляется, почему мы не уезжаем, почему не пытаемся эмигрировать, на что надеемся? А правда, странно... Ну, рвались бы мы на Запад, нас бы не пускали — все было бы понятно: мы — пленники, мы стремимся к свободе... таких много — уповают на лучшую жизнь... А мы с тобой к чему стремимся, на что уповаем? Тебя посадят или убьют, я умру... мать стара, детей заберут в детдом... Ради чего все это? Весь этот ужас? Она спрашивает, а я говорю какие-то глупости, что я здесь родилась, что здесь моя родина, что я привыкла здесь и у меня просто нет стремления уехать... Но я же чувствую, что это не то... Я знаю, уехать нельзя, но — почему? Здесь нужны какие-то другие слова, особенные... Может быть, я до них не доросла или боюсь, что она их не поймет... или вообще эти слова нельзя произносить вслух... Не доросла, не доросла... Конечно же, мы не доросли до настоящих слов.

О н. Да нет же! Ты все правильно сказала: мы здесь родились, мы русские люди, мы воспитаны русской историей, русской литературой. Мы — часть этой жизни. Почему же мы должны откалываться и уезжать?

О н а. Нет, нет, нет... Пустые слова, все не то... до настоя-

щих мы еще не дожили... Как мы живем? Наше состояние промежуточное... Еще нет ни обысков, ни следствия, ни даже угроз — и эти в машине не к нам. Когда они приедут к нам, когда это будет, это будет другая жизнь. Мы знаем, что так бывает — по рассказам, вернее, по пересказам через третьи лица и по литературе, — и знаем, что так будет. И мы примеряемся к этой грядущей жизни, ждем ее, не хотим... молим о том, чтобы она, та жизнь, подольше не наступала... И мы только-только отошли от жизни прошлой, обычной, знакомой, где все ценности, все связи понятны с детства и общеприняты — и понятны заботы, волнения... Мы — люди той, прошлой жизни... Мы хорошо знаем ту жизнь... Она нам не нравилась. "Разве это жизнь, — говорили мы, выпивая с друзьями на кухне. — Какая нищета, какая скудость, какая ложь кругом — унижительная, смешная ложь... главное — ложь... разве это жизнь?" Но все-таки это была жизнь — пусть неполная, скудная, но теплая и спокойная; пусть нищая, но теперь-то мы видим — теплая и спокойная, без прямой и неотвратимой угрозы, что проломают череп, что придут десять человек... представь только — десять чужих, в плащах, с лицами, с чужими глазами — все перевернут, обыщут девочек... а девочкам после этого жить и расти и радоваться предстоит — как? Как они будут жить?... И мы смотрим на это еще из прошлой жизни. И страшно... И все наши понятия все в прошлой жизни, и желания — там... А впереди, может быть, и высоко, прекрасно, необходимо — все так... но страшно-то как! И все примериваешься, а если бы этого не было — не лучше ли? Но ведь живут же люди без этого! Живут же люди, как все... Мы-то что на себя взвалили... На себя, на детей... Детям-то как жить? У Дашки спросили в школе, что в небе летает? Она говорит — ангелы... Все дети кругом — самолеты, ракеты, спутники, а она — ангелы... Скандал! Учительница меня вызвала. Я говорю, ну что же, ангел — это хорошо, ангел — это направленный свет любви... Она на меня глаза выкатила, говорит: "Крестик у ребенка надо снять или, в крайнем случае, зашейте его в маечку. Ей в пионеры вступать..." Учительница права... зашить в маечку? А что я Дашке скажу? Ей-то все равно, она нес-

мышленная... Но этот крестик в маечке — это такое унижение, такая обидная покорность... И перед Дашкой стыдно, она это почувствует... Но я же не могу сражаться ребенком, я же не могу ее подставить... Зашила в маечку.

О н. В нашей жизни что-то нужно менять... Давай купим тебе английское платье. Ты будешь в нем, как Маргарет Тэтчер, — ты всегда хотела быть умной женщиной.

Она. Да ничего подобного! Я всегда хотела быть маленькой, хорошенькой, красиво одеваться, весело жить — весело и беззаботно...

О н. Да, мы живем какой-то немзыкальной жизнью.

О н а. Я всегда хотела жить благополучно... Ты способный, мог бы сделать карьеру.

О н. Какую карьеру — до этих? Как я смотрюсь среди них?.. Нет, нам не хватает веселья и музыки, вот чего. Бедность должна быть музыкальной, веселые нищие... а мы зажаты, несвободны. *(Берет гитару.)* Я тихонечко, чтобы не разбудить... *(Наигрывает.)*

Она. Почему же обязательно — до этих? Живут же люди вокруг — прекрасные, светлые, замечательные люди. Живут и творят добро. Активно, деятельно... вопреки всем этим... Ты был журналистом и ты знаешь, с каким трудом дается каждое доброе дело, как трудно каждую малость проталкивать, пробивать; ты же знаешь, что целую жизнь приходится тратить, чтобы пробить, реализовать хоть самую малую частицу добра, истины, здравого смысла. Ты же все время писал о таких людях, защищал их от всякой сволочи, от бездарности, пытался помочь... Разве это не достойная жизнь? Ну и продолжал бы... Карьеру, может, и не сделал бы, да черт с ней, с карьерой, зато жили бы спокойно...

О н. А куда девать то, что я понял?

Она. Все понимают — девают же куда-то свое понимание, не лезут с ним.

О н. Я исследовал систему — куда это девать?.. То, что я написал книгу, ушел с работы — это следствия. Главное — я исследовал систему, понял ее, до конца додумал... Сколько мы с тобой говорили об этом — сколько раз!.. и ты снова и

снова... Я не врач, не учитель — а то бы, может, так не вылезал, сидел бы на своем месте, делал бы свое дело... Я — журналист, публицист, мое дело — говорить, и если я что-то понял и не скажу — что в моей жизни проку? Это моей жизни, моего темперамента — мое дело. Я сделал его, как смог — почему я должен делать его хуже, чем могу? Это унижительно. Почему я не могу додумывать то, что могу додумать... почему я не должен писать то, что могу написать? Почему я не могу сказать то, что мне вполне понятно? Если я — журналист, если я — публицист и если я что-то исследовал и что-то понял, почему я должен об этом молчать?.. Свой крестик я куда зашью?

Она. Что толку — исследовал, додумал, сказал... Раньше ты мог высказаться в газете — тебя читали, обсуждали. Пусть там все было куце, вот такая вот правдочка, но она до всех доходила, всем была доступна и всем нужна... И всегда была надежда, что через год можно будет сказать еще чуточку побольше... Но вот ты все высказал сразу. Вот твоя большая правда, *(Включает приемник. Мощный звук глушилки... Кричит.)* Слушай, слушай! Может быть, это читают твою книгу, твою правду...

О н *(выключает)* Чепуха... Слово нельзя заглушить. Его хоть в могилу спрячь, оно тростниковой дудочкой заиграет, не умрет. *(Играет на гитаре, поет.)*

Она. Да, я знаю, что не умрет... Жить-то как?.. Я заварила чай... Как ты это делаешь? Когда ты поешь или танцуешь, я готова простить все твое долдонство. Как жалко, что Дарья не в тебя — будет как я — неуклюжая. Может, Танюша вырастет пластичной: она все поет и танцует.

О н. Пожалуйста, теперь немного подвигаемся... потанцуем... Нет, кисти посвободнее, локти поближе, вообще руки освободи... ноги чуть согнуты... это единое движение... вот так... Какая ночь! Ты — как Золушка на балу.

Она. А может быть, все-таки продать Брокгауза? Или что-нибудь заложить в ломбард? Что у нас осталось такого? Мою шубу? Ведь это ничего, мы ее выкупим, я заработаю... Я закончу игрушки — тут как раз рублей на двести...

О н. Ах, как же я танцевал в тот вечер, когда мы с тобой

познакомились и когда я отбил тебя у Бабьегородского... Это было какое-то молодежное кафе, да?

Она. Ужас! На тебе была красная рубаха, и тебе казалось, что ты ослепителен.

О н. Я был бешено влюблен. Никогда больше я так не танцевал — ни до, ни после. Я вложил в этот танец всю свою страсть к тебе.

Она. Ну, ну, ну... понесло, понесло... Когда ты танцевал, мы были едва знакомы. Ты же за Анькой приударял... Смотри-ка, все те же люди... кто тогда был? Регина, Бабьегородский, Рыжий, Севочка, Анька...

О н. Точно, точно. Это был тот вечер, когда ты съездила по роже бедному Севочке. Я до сих пор помню его красную физиономию, испуганную Регину... у Петечки, по-моему, сделалась истерика, а Рыжий хохотал во все горло... Ты говоришь, кто там еще был?

Она. Не делай вид... Анька... Ах, какие у нее были глаза! Вот такие вот огромные серые глаза... Только фиг она на тебя внимание обращала. Она уже тогда нацелилась на Петечку — знала, на какую лошадку ставить.

О н. А ты?

Она. Я не понимаю, ты что, хочешь напоить меня, что ли?

О н. Ах, миленькая, мы с тобой так редко сидим. Ты так редко смотришь на меня добрыми глазами...

Она. Ты здесь ни при чем. Покупай почаще хороший коньяк.

О н. А ты... ты на ту лошадку поставила?

Она. Из нас двоих лошадка — я. Это ты на меня поставил, и я повезла... Ты видишь, сколько я везу на себе? Я еще не старая кляча?

О н. Ты удивительно хороша, — особенно, когда улыбаешься. Улыбка совершенно преображает твое лицо... Ты — мадам Улыбка... Выпьем, и ты мне улыбнешься... Вообще напьемся, как в тот вечер, когда ты бросила Бабьегородского.

Она. Да нет же... как-то все у тебя... его бросила, тебя подобрала. Это тебе все просто. Стала бы я жить с тобой, если бы так легко от одного мужика к другому... Только бы ты меня и видел... Нет, я задолго ушла.

О н. Хочешь, я сам скажу, почему ты его бросила?

Она. Тебя никто не просит.

О н. Если бы осталась, ты бы просто спилась.

О н а. Перестань!

О н. Что такое твой Петечка? Комсомольский поэт, комсомольский драматург...

Она. Ну что за бабские выходки!

О н. Нет, нет, ты послушай... Он, конечно, добрый парень, но... какой он писатель?.. Так, зарабатывает человек, чем может.

Она. Высказался? Ты злой и завистливый. Как ты можешь? Ты, ты... у нас с тобой даже выпить не на что... Зато сейчас я бы ездила на зеленом "Мерседесе", как Анька ездит.

О н. Сейчас бы ты ездила на инвалидной коляске. Ты бы давно уже спилась от тоски. И Петечку бы утопила. Вы бы оба спились — и ты, и он, Петечка слабый, а ты баба въедливая, сильная... Да, да, не маши руками, сильная... К тому же он любил тебя без памяти. Он совершенно раскис. Он был в отчаянии, у него тряслись руки. Он совсем не мог работать: ты его задавила. Что бы он ни писал, ты смеялась над ним, ты на все говорила, что это полное говно, что он сам — полное говно. Говорила или нет? И делала вот такое вот презрительное лицо... Собралась парочка! Тебя тошнило от его вранья, ты чуть не спилась от этого, а он, горемыка, органически не способен говорить правду, да он и не знает, что такое правда. И тоже чуть не спился от отчаяния... Нет, милая, ты не уважала Петечку, и он, бедненький, перестал уважать себя. Еще бы немного, и на обоих можно бы ставить крест... А теперь? Театральная афиша пестрит Петиним именем. Своим враньем он заполнил все подмостки страны. Освободился... Сначала купил дачу, потом "Мерседес", теперь вообще может позволить себе менять жен, менять машины... Так что скажи спасибо, это я вас обоих спас.

Она. Ты спас! Постыдился бы говорить. Оглянись вокруг: это спасение?

О н. Спас, спас... Что бы ты ни говорила — спас.

Она. Прекрасно, готовь инвалидную коляску — сегодня все движется к тому же.

О н. Ах, подруга, если бы ты умела почаще расслабиться, это было бы совсем неплохо... Выпьем?

О н а. Спаситель нашелся... Ты-то тут при чем? Если хочешь знать, я тебя в тот вечер вообще не заметила — так, танцевал там какой-то хмырь, кривлялся — и все... Я влюбилась вовсе не в тебя...

О н. Ты влюбилась в меня.

О н а. Да ничего подобного!

О н. Ты влюбилась в меня и той же ночью стала моей женой.

О н а. Я влюбилась не в тебя, а в твою Регину. Какая баба! Я в нашем болоте никогда таких не видела: красивая, умная, свободная. Главное — свободная. Это удивительно: она об разует вокруг себя какое-то поле свободы. Я потом и здесь уже много раз проверяла — точно, она всегда на меня так действовала: она приходила, садилась вот здесь в кресло и улыбалась... и все. Ты видишь ее и понимаешь: вот человек, который может все, и чувствуешь, что рядом с ней ты тоже все можешь... Дурак, почему ты на ней не женился?.. И тогда в кафе я вдруг тоже почувствовала, что все могу. Все!

О н. Тебе холодно?

О н а. А ты... что же ты... ты был где-то около Регины.

О н. И все-таки уехала ты со мной.

О н а. Не с ней же мне уехать.

О н. И все-таки ты уехала со мной.

О н а. Уж не вспоминал бы этот кошмар. Ты напоил меня и увез, и привез сюда: в той комнате лежал твой парализованный папа, за стеной храпела мама... Очень нежные воспоминания... Потом, когда я как-то кормила твоего папу протертым супом, он с гордостью сказал мне, что не спал в ту ночь, слушал, как мы замечательно любили друг друга... Подохнуть можно: лю б и л и . . . Хорошо, что твоя мама спала, а то бы это был уже большой спектакль, и они могли бы обменяться впечатлениями.

О н. Я не люблю, когда над этим смеются.

О н а. А если вспоминать всерьез, умрешь с тоски.

О н. Но ведь были же у нас и хорошие времена, ты не можешь отрицать.

О н а. Это было так редко, что я не помню.

О н. Особенность твоего обиженного сознания — помнить только плохое.

О н а. Опять публицистика.

О н. Прости меня... Я в последнее время очень чувствую свою вину перед тобой... Я тебя очень люблю... Мне очень повезло в жизни...

О н а. Да, конечно, я баба неплохая.

О н. Нет, неплохая — это ничего не значит... Я очень хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы у тебя было все хорошо, но я не знаю... так получилось... Когда Петька впервые прочитал мою книгу, ты помнишь, что он сказал? "Ну хорошо, ты — самоубийца, это я могу понять... но что же ты, гад, о жене и детях не думаешь?" Я тогда все это мимо пропустил... Я никогда не сомневался, что я прав, — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда отдал публиковать — прав! И теперь уверен: прав!

О н а. Ты везде и всюду прав, ты перед всеми прав... ты только здесь, перед нами не прав... Смотри-ка, совсем рассветло... Задерни шторы — мне не хочется, чтобы начинался новый день, ну его...

О н. Но мне только одно очень горько: ты меня не любишь. Хотя я понимаю...

О н а. Ну что ты, миленький, как ты можешь так говорить... Я прожила с тобой двенадцать лет, родила двух дочерей... Как ты можешь так говорить? Только мне трудно представить, как это я буду одна здесь ходить... от окна к столу, от стола на кухню... а тебя нигде не будет... Сколько — семь лет? двенадцать? всю жизнь?

О н. А ты правда ко мне хорошо относишься?

О н а. А куда же теперь деваться?

О н. Какая же ты женственная...

О н а. Как я постарела за последние два года — ужас! А хотя что же, тридцать восемь... кошмар!

О н. Разве это много? С тобой я этого никогда не чувствую,

О н а. Перестань... вон как поседела,

О н. Ты удивительная красавица.

Она. Просто ты меня любишь.  
 О н. А тебе хорошо, что я тебя люблю?  
 Она. Да, конечно, а что бы тогда вообще осталось?.. Мне бы только одеться хоть немного, платьице какое-нибудь... Только у меня титек слишком много.  
 О н. Было бы меньше, я бы любил другую женщину.  
 Она. Не ври. Куда б ты делся?  
 О н. Никуда... Если бы я не был женат на тебе и сегодня встретил бы тебя на улице, я сразу бы влюбился и сделал предложение. Пойдешь за меня замуж?  
 О н а. Да никогда! Тебя посадят, я умру от горя, девочек заберут...  
 О н. А если мы завтра поклеим обои?  
 Она. Поклеим обои, купим платье, повесим шкафчик на кухне и... и что-то еще, я уже не помню... постирать тебе любимую рубашку.  
 О н. Давай пораньше встанем, чтобы все успеть,  
 Она. Подумать только... Давай.  
 О н. А поэтому ляжем пораньше, а?  
 Она. Ты полагаешь?  
 О н. А почему ты смеешься?  
 Она. А у тебя очень смешной вид. Глаза такие жалкие-жалкие. Мне же тебя жалко... Только выдерни телефон, а то вдруг включится, и задерни шторы поплотнее... И сядь, посиди еще немного, допьем... И ты мне расскажешь что-нибудь про директора гастронома — он у тебя славенький, он мне нравится... Садись, посидим еще...

*Конец второго действия*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

**Наутро.**

О н (*громко*). Телефон включили!.. (*Набирает номер.*) Десять часов семнадцать минут... Какой день! Солнце светит, телефон работает, горячую воду дали... Попугай-то — соловьем, соловьем выщелкивает!.. А кто к нам приходил? Или мне показалось? Я как бы слышал звонок в дверь, но не проснулся... а потом приснился какой-то кошмар... Эй, послушай.

давай уедем отсюда. Ну их всех к едрене фене. Давай уедем в Америку, в Израиль, в Новую Зеландию, хоть на острова Паумоту — куда-нибудь... И будем жить. Без страха, без проблем — будем просто жить и наслаждаться жизнью... Разве это мало — просто жить и наслаждаться жизнью?

**Она выходит из ванной.**

Господи, ты ослепительно хороша. Скинь халат, я за ночь не нагляделся.

О н а. А это не стыдно — в нашем возрасте, и так вот...

О н. Ты слишком много думаешь, что стыдно, что не стыдно. Это всегда и мешало... Десять часов семнадцать минут — будем спать дальше... Вообще отбросим все дела и целый день будем спать, спать...

О н а. Увы, сейчас ты пойдешь за детьми.

Он. Но ты же сегодня потрясающе хороша,

О н а. Ах ты миленький... Все... Отстань... Свари лучше крепкий кофе... Что ты здесь говорил? Что такое Паумоту?

О н. Ничего. Когда ты ласкова, мне ничего в жизни не надо. Если бы так всегда, я бы и писать перестал... У меня же звериное обоняние... О, как ты сладко пахнешь...

О н а. Заговорил, заговорил... Помой лучше пол на кухне.

О н. Поговори со мной...

О н а. Терпеть не могу эти разговоры.

О н. Но почему?

О н а (*после некоторой паузы*). А что толку говорить? Все равно ничего не поймешь. Ты — глухарь, токуешь один и никого не слышишь... Ополосни-ка чашки, меня что-то уже с утра ноги не держат.

О н. Кто-то приходил или мне показалось?

О н а. Приходила мама. Танюша удачно пописала в горшочек, и мама принесла анализ.

О н. Как это трогательно. Мне идти в поликлинику?

О н а. Да нет, я сама. Анализы принимают до десяти, но ничего, бутылочку я поставила в холодильник, может, и позже удастся сдать... Не могу... Мне идти в детскую поликлинику, а у меня при одной мысли в мозгу начинается спазм. Ждешь: обхамят, обругают... и ничего от них не добьешься...

У Таньки хронический тонзиллит, а наша врачиха говорит: Девочка что-то не то съела..." Помнишь, в прошлом году Дарья болела скарлатиной — это было всем очевидно, а у них записано — простуда. У ребенка шелушение, а врачиха твердит: "ОРЗ". Танька почти месяц у бабушки — забирать, не забирать? Как дезинфекцию делать? ОРЗ — и все тут... Только уж когда из платной поликлиники вызвала, добилась... приехала старушка-доцент — точно, была скарлатина, — все рассказала, объяснила...

О н. Офонареть можно! Ну что мы здесь сидим? Давай уедем... Ну что мы сидим, из последних сил напрягаемся, вся жизнь уходит на то, чтобы не подохнуть с голоду, чтобы тряпку купить, чтобы хоть как-то продержаться. Переплетное дело... меня уже тошнит от запаха клея... Разве я с моей головой... Мы же молодые люди. Да если бы я каждый день мог бы с утра садиться за письменный стол и работать до вечера — и ничего другого! — как я хочу, как мечтаю... да что такое две книги за пять лет! — да я бы в год по две такие писал. Ведь у меня голова на плечах, машина — и неплохая, скажи? А то ведь так жизнь и пройдет... А дети? Это хорошо, что они вырастут здесь, с этими учителями, в этой лжи? Они простят, что мы с детства заставляем их врать или применяться к чужому вранью? Когда они вырастут, они простят нам, что мы не уехали, их не увезли?.. А ты? Ты еле тянешь, тебя здесь надолго хватит? А если и впрямь что-то случится со мной, с тобой?.. Ну ладно бы еще моя работа, кто-то читал бы здесь мои книги, кто-то прислушивался, знать бы, что кому-то нужен... да нет же! Пять, десять человек — и все! Зачем людям моя правда? Им завтра с этой правдой на ту же работу идти, на тех же партсобраниях высидивать... Куда им мое слово?.. А я?.. Ведь голова-то работает, ее не выключишь... Давай уедем. У меня замыслов до конца жизни хватит. Сиди и пиши... Найдем где-нибудь тихое, скромное место... Уедем, а? Я скажу Севочке, что мы хотели бы уехать, и я уверен, через месяц мы получим вызов. Он сам намекал. Они никого не выпускают, но нас вытолкнут с радостью: для них это лучший способ — без скандала, тихо... Ты понимаешь, я уж действительно

хочу, чтобы они меня поскорее посадили, чтобы наступила развязка... Чем хуже, тем лучше... не для меня — для книги. Книга — это моя жизнь, мой поступок. Я хочу определенности... А что иначе? Мне же ничего другого не остается — не быть же всю жизнь переплетчиком... Может быть, и твоя жизнь как-то переменится к лучшему — я и вправду на это надеюсь...

Она. Запел, запел свою песню...

О н. А так — лучше что ли?

Она. Ты хотел пройти пылесосом книги и занавески.

О н. Хорошо, я не иду за детьми, я буду проходить пылесосом. Ты этого хочешь?

Она. Не кричи, а? У меня голова болит... Ты устал, миленький, и выглядишь неважно. Телефон работает, ты бы позвонил Петьке, — может, один к нему съездишь? Поживи у него пару дней. Кстати, он в восторге от твоей новой работы — вот и поговорите...

О н. О чем ты говоришь, какой Петька, какой отдых, когда я вижу, что дома полный развал, что дети больны, что ты...

Она. Занавески вообще нужно купить новые. Эти уж лет двадцать висят.

Он. И купи. Скажи, зачем ты бережешь столько книг? Для какой жизни? Здесь они тебе не понадобятся, там — тем более, да их и не выпустят...

О н а. Здесь... там... Хорошо, предположим, мы уедем. Уехали... А кем мы там будем — в Америке, во Франции — где?

Он. Я не знаю... Кем? Не пропадем... Какая разница — кем? Просто людьми... Поедем куда-нибудь, где скарлатина называется скарлатиной, колбасой — именно колбаса, а человек значит то, что могут его руки и голова, а не то, что он врет на партсобрании, — есть такое место на Земле? Говорят, на Западе наши русские проблемы всем просто осточертели — и хорошо, и правильно, будем жить без проблем. Только бы выпустили. Мы там сами по себе — и без проблем! Только бы вырваться отсюда... Не все ли равно, где и кем — мы будем просто людьми.

Она. Да я тоже — думала... Знаешь, Петька получил большое письмо от Рыжего. Три года, как тот уехал, и уже купил

дом в пригороде Бостона. Двухэтажный особняк с двумя балконами. Машина. За домом — бассейн... Живут же люди.

О н. Рыжий! Рыжий — гений предпринимательства, ему здесь делать нечего.

О н а. Он звал тебя, говорил, ему нужна твоя голова.

О н. Не бойся, не пропадем... Да и ты... Европа ждет твои игрушки а ля русс... Ай, да много ли нам надо!

О н а. А собаку? Собаку выпустят? А попугая?

О н. И собаку, и попугая, и даже твою мамочку — все уедем, все.

О н а. А занавески здесь оставим?

О н. Возьмем — пол мыть.

О н а. Неужели у нас будут другие занавески на окнах? А ностальгия?

О н. По занавескам?

О н а. И по занавескам тоже — я же к ним привыкла...

О н. Сделать тебе еще бутербродик? Я думаю, отпуск мы проведем на Майами... но зимой — это, говорят, не так дорого и народу немного...

О н а. А книги? Все загоним?

О н. Нет. Возьмем всю русскую классику и по истории России.

О н а. Зачем? Разве мы будем русскими?.. А у Рыжего дети совсем перестали говорить по-русски. Он так и пишет: "Сволочи дети совсем не говорят по-русски..." Неужели и наши? Как это? Наши девочки — и не русские... А мы с тобой?

О н. Можно подумать, что без этой тухлой колбасы ты — уже не русская... Без этой поликлиники, без Дашкиной учительницы, без подслушивающего аппарата, который где-то здесь записывает драму нашей жизни... Что это значит — быть русским?

О н а. Не знаю... Но все-таки это буду уже не я... Я — это моя судьба — ничтожная, несчастная... но моя... моя судьба здесь... Я думала — кто я? Нет, я не русская... Я, воспитанная на русской литературе, на русской культуре, на русских, пусть изгаженных, но русских традициях, я — не русская... Как ни смешно, я — советская... Россия, история — у меня

этого ничего нет. За всю жизнь столько вранья в голову позатолкано — в голову, в душу, — и мы принимали это вранье, принимали, как все принимают — куда же деваться-то, — принимали... Все перепуталось... В какой-то момент в юности вообще казалось, что никогда не разобратся... Но ведь не только же принимали... но и сомневались; жили и жизнью проверяли, что вранье, что правда... Моя жизнь, опыт моей жизни — это опыт понимания, опыт освобождения от вранья... Это важно! У меня нет другой России, кроме той, в которой я живу. И другой истории у меня нет, кроме собственной жизни. Но эта жизнь у меня есть — опыт прозрений, опыт противостояния вранью... Нет, я — русская. Я русская, наделенная опытом сопротивления вранью, — вот как это называется... Я — баба... мне это не под силу... Я еле тащу... Но этот опыт у меня есть. Было бы куда спокойнее, если бы мы остановились где-нибудь там, на полпути... друзья на кухне, анекдоты... Жизнь наша дурацкая, несерьезная... Зато теперь все слишком серьезно. И уже ничего не изменить. Все уже свершилось. Мы оказались одни перед этими бандитами. Ты, я и наши маленькие девочки... Но я-то согласия на это не давала... Я боюсь их, миленький, я боюсь их. Я же понимаю, все правильно. Ты не мог иначе, ты умница... Но девочки-то маленькие... И я никак к этому не привыкну, Да и как к этому привыкнешь? Я не рассказывала тебе самых страшных снов, Когда они входят ночью и убивают нас всех. И девочек, Я боялась это рассказывать. И ты знаешь... после этих снов я поняла, что все правильно, что истина именно в том, что все, что произошло с нами — твои книги, наша жизнь — все правильно... что даже если убьют девочек, то... Вот до какой мысли я доросла. Вот какой опыт. Неужели мы этим не дорожим? Разве нам это легко досталось? А зачем этот опыт там? Там будет другое — будет хорошо одетая пожилая дама, она будет жить в чистом, хорошо обставленном доме, будет пить свой утренний кофе из хорошей посуды, все будет солнечно, опрятно... какая малость! А я со своими мыслями? Где буду я с этой своей жизнью, с этим своим опытом? Все останется здесь... Неужели мы этим ничем не дорожим? Разве нам это легко досталось?

О н. Что ты говоришь? Тебя страшно слушать. У тебя нет чувства самосохранения... Разве человек не имеет права изменить свою судьбу к лучшему? Разве человек, покидая тюрьму, перестает быть самим собой?

Она. Почему ты решил, что к лучшему? Мы не можем знать, что лучше, что хуже. Неужели все, что мы поняли, все, что следует из нашей несчастной жизни,— это то, что нужно уехать?.. Тогда почему мы не уехали раньше? Почему ты раньше нас не увез? Рыжий тебя звал, а ты что ответил? Что хочешь понять себя в этой жизни... И мы поняли. Мы поняли себя. И не только себя. Мы эту жизнь поняли. Мы поняли Регину, поняли Скоробогатова... Мы сдвинулись, но никак не можем оторваться от прошлого. Да, мы одиноки здесь, во времени. Каждый сам по себе. Нас никто не слышит... Но мы же не только во времени... Есть же вечное противостояние добра и зла. И в этом вечном противостоянии мы не одиноки... Это надо понять и принять на себя... Вечное... Надо жить в Вечном... Разве не это нам надо понять? Разве не эту судьбу принять? Куда же нам ехать? Нам — здесь. До конца. Если, конечно, мы всерьез все это — и детям, и друг другу, и самим себе... Всерьез... Но решиться страшно. Страшно, — боже, как страшно! И хочется зацепиться за прошлое или уехать... Может быть, все-таки уехать?

О н. Нет, подруга, я — не пророк. Это ты пророк. Какие плодотворные идеи — сама-то хоть чувствуешь?

Она. Не говори. Ты всегда торопишься и никогда не думаешь до конца. И опять ничего не понял. А я... мне это не нужно. Мне бы сидеть где-нибудь тихо, незаметно... согреться бы... растить детей...

О н. Все. Хватит. Если что-то делать, то делать. Скоро полдень, а у нас еще день не начался. Так и жизнь пройдет... Что? Идти за детьми? Я пошел... Могу зайти в школу — что нужно было учительнице. Конец года — что ей понадобилось? Тебе в поликлинику — одевайся и иди, не забудь анализ... Или, может быть, все-таки ремонт? Если да — начинаем... Крутиться надо, крутиться.

Она. Ты иди, иди... Я немного посижу и тоже пойду потихоньку.

О н. Нет уж... Я уйду, а ты опять ляжешь и укроешься с головой.

Она. Хорошо, мы выйдем вместе, только ты меня не торопи. Можешь пока помыть посуду — горячая вода есть. *(Выходит, чтобы одеться.)*

О н. Нет уж... Я тебя не тороплю, но вот я сижу и жду... Я жду...

**Она появляется в новом платье.**

Что за платье? То самое, английское? А это ничего, что его так надеваешь? Не подходи к столу, здесь что-то... пятно посадишь.

Она. Ты скажи, нравится?

О н. Да я в этом ничего не понимаю.

Она. А вот Петька своей третьей жене все туалеты сам выбирает. Она моложе его лет на двадцать, и он наряжает ее как куколку... В каких она платьях — обалдеть! Я как-то на улице видела — люди оборачиваются.

О н. Ты не ее встретила. Это была пьеса про Ленина. Это были старушки, которые выгодно помолились на его портрет... Петюнчик... У него есть на что. А у меня — увы... Да, честно говоря, ты мне как-то больше... вообще без платья нравишься...

Она. Замолчи! Надо же, какой чурбан бесчувственный... А как я себя чувствую, — тебе наплевать.

О н. Мне кажется, уже какое-то пятнышко.

Она. Ничего, отдадим в чистку. Оно хорошо чистится.

О н. Не понимаю... Собираешься купить?

Она. Соседка приходила утром, и я сказала, что беру.

О н. Ты что, рехнулась?

Она. С деньгами она может потерпеть до завтра.

О н. А что будет завтра?

Она. Не знаю... Отвези шубу в ломбард... ты же сам вчера говорил...

О н. Я говорил? Предположим, я говорил — ну и что? Ты пользуешься моей добротой. Ты вымогаешь у меня, а потом я должен выворачиваться наизнанку, чтобы выкупать все это? Что?!

Она. Посмотри на свои тапочки.

О н. Тапочки?

О н а. Ты помнишь, как я купила тебе эти тапочки? Ты устроил гнусный скандал и кричал, что нельзя тратить деньги на лишние вещи, что тебе не нужны тапочки, что ты готов босиком ходить, только бы не тратить деньги попусту... несчастные тапочки...

О н. Ну хорошо, хорошо, оставь это платье.

О н а. Да?! Носи его сам. *(Снимает платье и, скомкав, бросает ему в лицо.)* Пророк поганый....

О н. Успокойся, пожалуйста...

О н а. И не лезь ко мне со своими успокоениями.

О н. Ты хотела идти в поликлинику. Анализ в холодильнике.

О н а. Анализ нести поздно, и мне не в чем выйти.

О н. Куда я-то должен идти? К маме? В поликлинику?

О н а. Не знаю, куда хочешь. Холодно-то как... *(Надевает шубу и ложится на тахту.)*

**Он поднимает брошенное платье, расправляет его и осторожно держит на вытянутых руках. Свет меркнет. Темнота.**



Владимир МАТЛИН

## ВРЕМЯ НОРМАНА ГРИНА

Некоторое время Норман старался не заглядывать в открывающуюся и закрывающуюся сбоку от него дверь. Не может быть, уговаривал он себя, ему просто померещилось. Мало ли людей с такой невыразительной внешностью? Да и что этому человеку делать здесь?

Но все же, когда дверь открылась в очередной раз, пропуская посетителя, Норман снова против своей воли заглянул в кабинет — и снова увидел хорошо знакомый коротко стриженный затылок и приподнятое левое плечо... Неужели это все-таки он?

Норман попытался вспомнить, где он видел его в последний раз. На заседании кафедры? На демонстрации? Вспомнить ему так и не удалось: из кабинета выскользнула девица в ладно пригнанных пятнистых солдатских брюках, с некоторых пор заменивших столь же непременные джинсы, и направилась прямо к Норману.

— Доктор Грин, извините, что заставили ждать, Пожалуйста, пройдите в кабинет.

Девушка посторонилась, и Норман оказался в кабинете. Стриженный затылок сразу же повернулся навстречу:

— Привет, Норман. Извини, что пришлось ждать. Сам видишь, что тут делается. Присаживайся.

Тон был самый обычный, как будто они встретились на ежемесячном заседании кафедры.

— Здравствуй, Джим, — выдавил из себя Норман и опустился на стул.

Джим придвинул к себе папку с разграфленными листами, надел очки в тонкой металлической оправе и сказала своим обычным, вежливо тусклым и чуть заискивающим тоном:

— Я понимаю, тебе хочется поскорее узнать, зачем тебя вызвали. Об этом с тобой будут говорить... несколько позже. Я лично этого не знаю, поверь мне. Я здесь человек маленький. Но прежде чем ты встретишься с большим начальством, я должен заполнить несколько бумаг — с твоей помощью. Если не возражаешь, давай приступим.

Норман неопределенно мотнул головой,

— Прежде всего, как ты получил приглашение?

— Ты имеешь в виду вызов?

— Пусть будет "вызов",

— По телефону, — сказал Норман, напрягаясь в предчувствии следующего вопроса.

— Кто тебе звонил?

Кровь ударила в голову Норману. Он сдержался, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Что за идиотская ситуация!

— У нас не принято называть имена перед посторонними, — произнес он с нажимом,

— Брось, Норман. У кого — "у нас", кто — "посторонние"? Неужели ты не понимаешь, что мы в одной корзине? Ну, хорошо, хорошо. Не хочешь говорить, не надо.

И, понизив голос, добавил:

— Я ведь знаю, через кого тебе был передан вызов, Через Рейни, верно?

Нормана поразило не то, что он знал, кто позвонил, а то, что он назвал Тимоти Рейнолдса его кличкой, как называли его только близкие люди — Рейни. Да, это он позвонил

Норману вчера вечером и просил прийти в Народный совет Южного Арлингтона. Как всегда, он был краток. Он потребовал, чтобы об этом приглашении не знал никто — ни один человек, даже жена. Норману не пришло в голову что-либо спрашивать, но Рейни сам в конце разговора вдруг добавил: "Наверно, наше время пришло, Норман".

Джим Бертс задал еще несколько вопросов, на которые Норман ответил односложно, глядя в сторону.

— Кто, кроме Рейни, знает о твоём визите сюда?

— Никто.

— Как ты добрался сюда?

— Пешком.

— Пешком? Да ведь это от твоего дома миль шесть.

— А что делать? Талоны на бензин кончились еще на той неделе. А автобусом, сам знаешь...

Наконец, Бертс закрыл папку, снял очки и позвонил по внутреннему телефону.

— С тобой хочет поговорить наш советник по вопросам безопасности.

Норман поморщился от слова "наш" и вышел из кабинета вслед за Бертсом,

Они прошли по коридору, поднялись по лестнице на второй этаж и остановились у массивной двери. Бертс нажал кнопку электрического звонка, а потом помахал рукой в направлении телекамеры, установленной над дверью. Дверь приоткрылась, и солдат в форме мексиканской армии пропустил их в тесный коридор. В конце коридора была еще одна дверь, не такая массивная как первая, и перед ней — еще один мексиканский солдат. Бертс тихо сказал ему что-то, и мексиканец раскрыл дверь. Бертс жестом предложил Норману войти, а когда Норман переступил порог, закрыл за ним дверь.

Комната, в которую вошел Норман, была ярко освещена электрическим светом, хотя за зашторенными окнами был безоблачный весенний день. Навстречу Норману, протянув руку для пожатия, шел высокий седой человек в элегантном сером костюме. Человек этот напомнил Норману Джонни Карсона — артиста телевидения, популярного в восьмидесятих годах.

— Очень приятно познакомиться, доктор Грин, — говорил седой человек, приближаясь к Норману. — Спасибо, что пришли. Мне нужно поговорить с вами, если не возражаете.

Пожимая Норману руку, он представился: "Богдан Лисовский, консультант Народного совета".

Они уселись по обе стороны журнального столика, на котором сиротливо затерялся карандаш, Лисовский сложил руки на груди, вздохнул и замолчал, собираясь с мыслями. Норман, выжидая, смотрел на карандаш; время от времени он чувствовал на себе взгляд Лисовского, "Профессиональные приемчики", — подумал Норман, впрочем, без всякой враждебности — "консультант" вызывал у него симпатию.

— Так чем могу быть полезен? — Норман решил прервать паузу.

— Нам бы хотелось, — начал Лисовский, — услышать от вас некоторые подробности относительно Апрельских событий. И о вашей роли в событиях — вы ведь были руководителем?

— Что значит "руководителем"? Я входил во Всеобщий Комитет как представитель Джорджтаунского университета...

Норман понимал, что его роль в Событиях хорошо известна, и ему самому не следует ее выпячивать. Кроме того, он испытывал разочарование: стоило вызывать его столь таинственным образом, чтобы поговорить о делах, хорошо известных и уже ставших историей? Стоило ради этого тащиться пешком через беспокойный город, предварительно наврав что-то жене, чтобы объяснить свое отсутствие? Может быть, это только начало?

— Вы были заместителем председателя комитета... одним из шести?

— Да, в начале мая, когда Рейни... Рейнолдс стал председателем, он предложил меня в заместители, и Комитет избрал меня единогласно.

— При четырех воздержавшихся, — заметил Лисовский и посмотрел на Нормана. Норман и не сомневался в его осведомленности. Но ведь вызвал он его не для того, чтобы продемонстрировать свои знания...

— Значит, всего было шесть заместителей. Как между ни-

ми были распределены обязанности? Все были равны по значению, или кто-то был, как говорится, "более равным"?

Лисовский явно гордился своим умением говорить по-английски. Отчетливый акцент и чрезмерная аккуратность грамматических конструкций выдавали иностранца, выучившего язык взрослым. Но владел он языком здорово. Норман не без ревности стал прикидывать, может ли он, профессор кафедры романских языков, говорить так хорошо по-испански? Интересно, откуда он, этот Лисовский — из России, из Польши? Впрочем, вряд ли это его настоящее имя.

— Пять заместителей были, по идее, равны. Но у Рейни был первый заместитель — Морелло, он председательствовал, когда Рейни уезжал.

— Фрэнк Морелло? Он, значит, был вашим непосредственным начальником, и вы с ним часто общались, не так ли?

Вот оно что! Вот куда он клонит — Фрэнк Морелло! И тут же другая мысль: значит, это правда, все эти слухи насчет Морелло. Тогда дело принимает серьезный оборот, и Норману следует взвешивать каждое слово.

Он взял с журнального столика карандаш, покрутил его, положил обратно и заговорил еще медленнее.

— Видите ли, в Комитете я действительно общался с ним довольно часто, хотя исключительно по делу. Я старался, откровенно говоря, свести контакты с ним к минимуму. Дело в том, что наши отношения... как бы это сказать, не сложились. Попросту говоря, мы недолюбливали друг друга.

— В самом деле? — В тоне Лисовского отчетливо прозвучало недоверие, и Норман почувствовал холод в желудке. — Говорите, недолюбливали друг друга? А тем не менее, жили с ним в палатке семь дней, сами выбрали его в соседи.

— О, вы имеете в виду ту демонстрацию в котловане?

История эта в свое время подробно освещалась в газетах и по телевидению, и не было ничего удивительного в том, что Лисовский знает ее в подробностях. Это было года за три-четыре до Апрельских событий. Правительство решило тогда строить недалеко от Манасаса химический завод для нужд военной промышленности. Началась волна протестов. Однажды несколько сот демонстрантов, в основном из Вашингтона, за-

хватили откопанный наполовину котлован заводского здания и засели там, не давая продолжать работы. Демонстранты разбили палатки и просидели в котловане семь дней и ночей, пока правительство не заявило об отказе от строительства завода. Это была настоящая победа, предвестник Событий...

— Собственно говоря, — сказал Норман, — я и там его не выбирал. Я руководил студентами, а он возглавлял какой-то профсоюз... гостиничных работников, кажется. И нам, двум, так сказать, руководителям, полагалось держаться вместе. Кроме того, я его тогда еще плохо знал.

— А когда же вы познакомились с ним поближе?

Норман понял, что опять промахнулся. И еще он понял, что при таком разговоре ничего доказать не удастся, нужно сменить тон, перенять инициативу, Стараясь говорить как можно увереннее, он сделал попытку:

— Не надо ловить меня на слове... э... — Норман не знал, как его назвать: "товарищ" или "мистер"... — Не надо меня запутывать. Вы хотите что-то узнать о Фрэнке Морелло, — пожалуйста, задавайте вопросы, Но я предупреждаю, что знаком с ним был мало, многих его взглядов не разделял, а с момента реорганизации Всеобщего Комитета, вообще, с ним не виделся.

— Не стоит волноваться, профессор Грин, право не стоит, — Лисовский говорил примирительным тоном, тщательно нанизывая слова на остов грамматических конструкций. — Никто не старается ловить вас на слове, как вы назвали это ранее. Я преследую совершенно иную цель, а именно: получить с вашей помощью необходимую информацию, которая будет нам полезна при решении проблем с некоторыми людьми.

Его речь напоминала говорящих роботов фирмы Ай-би-эм, — примерно так они отвечают по телефону, когда людей нет дома.

— С моей помощью? — переспросил Норман.

— Да, с вашей, а также с помощью других активных участников Движения.

— О, конечно, конечно... Я был бы рад...

Норману хотелось спросить о Морелло, о всех этих слухах

вокруг него, но он понимал, что вопросы здесь задает не он. Ему показалось, что сейчас было бы уместно высказать то, что мучило его с начала разговора, и даже раньше: с момента, как он вошел в приемную.

— Кстати, о проблемах с людьми. Я бы хотел обратить ваше внимание... то есть я бы не хотел, чтобы это выглядело как... Так вот, этот человек, у вас здесь, внизу... Бертс, я имею в виду...

— Прошу меня извинить, кто?

— Бертс, Джим Бертс, внизу, заполняет форму. Привел меня сюда, к вам в кабинет...

— О, о! этот... А что с ним?

— Я знаю его много лет, он работал администратором у нас в университете. Он всегда был известен как человек крайне правых взглядов. Мы его остерегались, про него говорили... я, конечно, не могу утверждать категорически... говорили, он доносит на нас в ФБР.

— ФБР? Федеральное бюро расследований? — Лисовский неожиданно засмеялся и добродушно замахал руками, — Оно больше не существует. Так что этот... Джим больше доносить туда не может. Пусть работает на нас.

Норман почувствовал раздражение. Нужно держать себя в руках! Не наговорить бы лишнего...

— Видите ли, такой подход... Нельзя не думать о том, какое это производит впечатление на людей: в Народном совете, пусть даже на канцелярской должности... бывший осведомитель.

— Ком-он, профессор, о чем вы говорите! Парень работает, старается, а вы хотите ему мстить за прошлую деятельность. Это нехорошо, профессор Грин.

— При чем тут месть? — сорвался Норман. — Я вам объясняю, что это деморализует людей. Это чистой воды цинизм, да, цинизм! Взгляните на это нашими глазами, участников Движения. Мы действительно жизнью рисковали, когда национальная гвардия...

— Участники движения! Профессиональные революционеры! К оружию, граждане! — Лисовский встал. От его доброду-

шая не осталось и следа. Перед Норманом был другой человек: с покрасневшим черепом под ежиком редких седых волос. — Вам Джим мешает, а? Я скажу вам так: люди, подобные Джиму, представляют собой здоровую основу любого общества. — Закругленные фразы странно контрастировали с резким тоном. — К чему стремится человек, подобный Джиму? Он стремится к стабильности и порядку. А теперь я задаю другой вопрос: к чему стремятся все эти революционеры, а? Они совершают революцию и после этого начинают контрреволюцию, а потом снова совершают революцию, — и так без конца. Вы делаете вид, что не знаете относительно Морелло... О кэй, я вам скажу про Морелло. Я уверен, что вы слышали про все эти бандитские нападения: на Народный совет в Мэриленде, на кубинских солдат здесь, в Северной Вирджинии? "Союз Вооруженного Сопротивления" — слышали?

Норман неопределенно мотнул головой:

— Ходят слухи... Газеты про это не пишут.

— Газеты про такие вещи не должны писать, мы этого не допускаем.

— И вы располагаете сведениями, что Морелло...

— И не только он. В Союз Сопротивления входят несколько бывших активистов Движения и членов Всеобщего Комитета. Ваши друзья и соратники.

Норман вскочил с места. Он почувствовал, что терять уже нечего,

— Консультант Лисовский! — заорал Норман не столько от обиды, сколько от страха. — Прошу вас это прекратить! Я с этими людьми давно разошелся. У вас нет оснований припугивать меня. Клянусь, я ни при чем...

— Я верю только фактам, — спокойно сказал Лисовский, и прежняя добродушная улыбка вернулась на его лицо. Он заложил руки за спину, прошелся по комнате, постоял у окна, глядя в плотно закрытую штору. В наступившей тишине слышны были выкрики по-испански, доносившиеся со двора: "Рамирос, давай к автобусу! Поживее!"

Лисовский повернулся к Норману и проговорил усталым голосом:

— Давайте заканчивать нашу беседу. Простите, я не сказал вам еще самого важного: мы просим вас принять участие в совещании, которое мы тут подготовили. Мы хотим встретиться с активистами Движения и как следует поговорить. Вы там увидите многих из ваших.

— О, конечно, — поспешно сказал Норман. Может, все не так уж и плохо, и с ними удастся найти общий язык, — Когда совещание?

— Прямо сейчас. Но только не здесь, а недалеко за городом, в специальном месте. Вас туда доставят.

— Но я не знал... я не готов...

— О, не имеет значения. Вас там накормят. Оттуда вы сможете позвонить жене, сказать, что задерживаетесь.

В этот момент Норман услышал скрип за спиной и оглянулся. Дверь открылась, в дверях маячил Джим Бертс, приглашая жестами Нормана следовать за ним. Норман повернулся к Лисовскому, чтобы попрощаться, но тот опять стоял у окна, лицом к шторе, заложив руки за спину. Норман промычал прощание и, не дождавшись ответа, вышел из кабинета.

На этот раз Бертс провел его по другой лестнице, на которой тоже дежурили мексиканские солдаты. Они спустились на два пролета вниз и оказались на цокольном этаже. Здесь военных было еще больше, и все они были вооружены автоматами. Норман узнал советский автомат "ЭК" — электронная корректировка.

Бертс распахнул боковую дверь и, пропуская Нормана, сказал со своей заискивающей улыбкой:

— Боюсь, придется подождать. Извините, пожалуйста.

Дверь закрылась. Норман оказался в маленькой комнатке с белыми стенами и потолком, без окна и почти без мебели — один стул в углу. Электрическая лампочка на потолке была прикрыта железной решеткой. Комната была похожа на карцер. Чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей, Норман сел на стул, снял свитер, положил его на пол и достал из кармана рубашки маленькие картонные карточки, на которых имел обыкновение записывать слова для запоминания. В последние

недели это были неправильные глаголы провансальского языка — шестого романского языка, которым Норман хотел овладеть.

Норман попытался читать слова, но взгляд его все время соскальзывал на дверь. Он отчетливо слышал, как она захлопнулась, когда он вошел. Но изнутри не видно было ни замка, ни скважины, ни просто ручки. Наконец, он не выдержал, подскочил к двери и навалился на нее всем телом, Дверь была заперта.

Норман с трудом удержался, чтобы не забарабанить в дверь кулаками. Он вернулся на место, подобрал с пола картонные карточки, засунул их в карман рубашки, Как это понять? Если они решили арестовать его, то зачем этот разговор с Лисовским? Ведь после ареста они бы могли допросить его куда жестче.

Он опять попытался учить провансальские глаголы, но сосредоточиться ему не удавалось. Он то и дело подходил к двери, прислушивался. В коридоре цокали по каменному полу солдатские кованые ботинки и слышалась испанская речь.

Прошло минут двадцать. Норман поминутно смотрел на часы, но запомнить время не мог. Вдруг дверь его комнаты щелкнула и распахнулась. На пороге стоял солдат с автоматом. Он поманил Нормана и резко сказал по-английски: "Выходи!" Затем показал на раскрытую дверь в конце коридора и сказал: "Туда".

Они пошли по коридору — Норман впереди, а солдат вплотную за ним. Встречные солдаты сторонились, пропуская их. "Любопытный способ доставки на совещание", — подумал Норман.

Они вышли из здания и оказались в закрытом дворе, полном вооруженных людей. Прямо перед дверью стоял желтый школьный автобус. Норман за последнее время отвык от их вида. Солдат положил руку ему на спину и подтолкнул к автобусу.

Норман вошел в автобус и, остановившись в проходе, попытался оглядеться. "Сидеть!" — приказал кто-то рядом с ним, и Норман послушно сел. Это был солдат в кубинской

форме с автоматом. Норман вопросительно посмотрел на него, но тот отвернулся.

Тогда Норман стал рассматривать людей в автобусе. Их было двенадцать человек, и он знал почти каждого: с некоторыми заседал в комитетах и советах, с некоторыми бывал на демонстрациях и митингах. Лица были угрюмые. Встречаясь глазами с Норманом, одни здоровались, другие отворачивались. Ближе других к Норману сидел высокий негр со светло-оливковой кожей, Норман знал его много лет, они участвовали вместе в десятках демонстраций.

Человек этот отличался молчаливостью и спокойствием. На всю жизнь запомнил Норман, как однажды (дело было, кажется, в Индиане) они в колонне демонстрантов пытались прорваться к стартовым установкам межконтинентальных ракет. Путь колонне преградила шеренга национальных гвардейцев. Демонстранты остановились, сбились в кучу, растерялись. И вот тогда этот негр, ни к кому не обращаясь, один пошел на шеренгу гвардейцев,

Десятки винтовок были нацелены ему в грудь, А он шел, сосредоточенно глядя перед собой, не оглядываясь, Тогда и другие, в том числе и Норман, двинулись за ним. И они прошли, — гвардейцы не посмели стрелять...

— Куда везут? Вы что-нибудь знаете? — спросил Норман тихо, но негр взглянул на него отчужденно.

В автобус вошел еще один кубинский солдат. Он положил свой автомат на пол возле шоферского сиденья и сел за руль. Автобус затарахтел и двинулся.

Сразу же за зданием Народного совета, в котором еще недавно помещалась школа, был въезд на 395-ю дорогу, Автобус поднялся на дорогу и помчался на юг. Автомобилей на дороге было совсем немного — движущихся автомобилей. По обочинам дороги двумя непрерывными вереницами стояли брошенные машины, некоторые с выбитыми стеклами и спущенными шинами, а некоторые совсем целые, как будто их просто здесь запарковали. Это началось, когда люди поняли, что временные трудности с бензином будут теперь носить постоянный характер. Вначале власти пытались с этим бороться, но потом перестали обращать внимание.

Поглядывая из окна автобуса на дорогу, Норман почти не видел легковых автомобилей; редкие грузовики, которые они обгоняли, принадлежали армии и государственным организациям.

Норман стал рассматривать кубинского солдата, сидевшего сбоку от него, в том же ряду. Худое лицо, выражавшее сонное равнодушие, выгоревшая форма, советский автомат... Старательно подражая кубинскому произношению, Норман спросил:

— Сеньор, вы не могли бы сказать, куда мы едем?

По изменившемуся выражению лица Норман понял, что солдат его услышал, однако он не ответил и даже не повернул головы. Норман повторил вопрос, но более тихим голосом:

— Слушай, приятель, куда это нас везут?

Солдат взглянул на него, отвернулся и внятно сказал:

— Говорить с подконвойными не положено.

Этого слова, "подконвойный", Норман никогда не встречал в испанском языке, но понял его сразу.

Солдат взглянул на него еще раз и тихо добавил:

— Мы ведь не знаем. Нам не говорят...

На худом лице его появилась застенчивая улыбка деревенского парня.

— Эй, Норман, что он сказал? — послышалось сзади. Норман узнал голос старика Берковица. Они были знакомы с незапамятных времен, когда Берковиц возглавлял профсоюз школьных учителей в Нью-Йорке.

— Он сказал, что ничего не знает. Похоже, это — правда.

— Мне сказали, что повезут на совещание какое-то. Но почему под охраной? Мне это не нравится.

— Они говорят, что охрана для нашей безопасности, — сказал кто-то позади Берковица. — Но мне кажется...

— Не разговаривать! — рявкнул кубинец и вскочил на ноги. Обведя взглядом притихших активистов, он снова опустился на сиденье.

В автобусе воцарилось гнетущее молчание, люди старались не глядеть друг на друга. Провансальские глаголы не лезли в голову, и Норман стал опять смотреть в окно.

Автобус уже пересек Вашингтонскую окружную дорогу и теперь ехал по 95-й в направлении Ричмонда. Норман заметил, что от самого въезда на дорогу за ними следом едет такой же желтый школьный автобус. Когда расстояние между ними сокращалось, Норман старался заглянуть внутрь автобуса: там могли бы оказаться, скажем, члены Народного совета, и тогда версия относительно совещания становилась более вероятной.

По мере удаления от Большого Вашингтона в веренице брошенных автомашин появились разрывы, а когда автобус свернул на боковую дорогу, брошенные машины и вовсе исчезли. Номера дороги Норман не заметил: его внимание было поглощено вторым автобусом: свернет за ними на боковую дорогу или нет?

Свернул!

Вскоре снова стали появляться брошенные машины — верный признак приближения населенного пункта. Промелькнула надпись "Манасас — 9 миль", и автобус еще раз свернул. Норман узнавал эти места. Здесь недалеко было то самое строительство химического завода, которое они заставили закрыть. По этим боковым дорогам Норман со своими студентами пробирался к стройке, обходя заставы национальной гвардии.

Автобус сбавил скорость и свернул на полуразрушенную дорогу, и Норман сразу же узнал дорогу на стройку. Бетон растрескался, и сквозь покрытие пробивалась молодая трава и даже кустики. Через несколько минут показалась и сама стройка — огромный заброшенный котлован,

Они остановились у пологого спуска, Кубинские солдаты смотрели назад, на дорогу.

— Куда нас привезли? Что это значит? — надреснутым голосом спросил Берковиц, но ему никто не ответил.

Показался второй автобус. Он остановился почти рядом, но окна отсвечивали, и Норман все равно не мог разглядеть людей внутри. Прошло несколько томительных секунд, двери второго автобуса раскрылись, из них стали выскакивать солдаты с автоматами. "Сальвадорцы", — сказал кто-то упав-

шим голосом. Сальвадорцы считались самыми свирепыми из всех союзников, протянувших руку братской помощи Народным советам. Наверное, двенадцать лет гражданской войны сделали их такими.

Водитель-кубинец открыл дверь автобуса, и сальвадорский офицер поднялся на ступеньку. Он внимательно пересчитал людей в автобусе, пошептался с кубинским солдатом и громко сказал по-английски:

— Из автобуса выходить по одному и только по команде.

Раздалось сразу несколько протестующих голосов. Берковиц требовал привести сюда председателя совета. "Я сам член Народного совета, — кричал он срывающимся голосом. — Я отказываюсь выходить из автобуса!"

— Я имею распоряжение — в случае неподчинения применять оружие на месте. Ясно? — И офицер спрыгнул со ступеньки автобуса на землю,

— Я член Народного совета! — опять крикнул Берковиц,

— Говно ты! — сказал высокий негр за спиной Нормана,

Солдаты полукольцом окружили автобус. Офицер махнул рукой, и кубинский солдат ткнул пальцем в Нормана: "Выходи!"

Едва Норман спрыгнул на землю, два солдата подхватили его с обеих сторон, завели за автобус и, закрутив ему за спину руки, надели наручники.

Они оставили его невдалеке от автобуса, у начала полого спуска в котлован, под прицелом двух десятков автоматчиков. "Неужели сейчас?" — пронеслось у него в голове. С облегчением он услышал команду: "Следующий — выходи!"

Следующим был высокий негр, имени которого Норман не мог припомнить. Он спрыгнул на землю, и когда солдаты попытались схватить его с двух сторон, резко толкнул того, что был справа. Солдат упал, негр перепрыгнул через него, обежал автобус и бросился вниз по склону котлована. За ним рванулся офицер, вытаскивая на бегу пистолет. Но выстрелить ему не пришлось: поскользнувшись на влажной глине, негр упал. Офицер и еще три солдата настигли его и принялись избивать своими тяжелыми ботинками. Негр дергался под ударами и старался закрыть руками лицо.

Солдаты подняли его на ноги, подвели к Норману и оставили рядом с ним. Негр стоял, шатаясь, и выплевывал то ли сгустки крови, то ли зубы. Норман попытался поддержать его плечом, но тот с неожиданной силой оттолкнул его, просипев через разбитые губы:

— Говно! Все говно!

Кровь заливала ему глаза, но он не мог ее стереть, потому что его руки были скованы за спиной.

Остальных десятерых сковали быстро. Когда надевали наручники на Берковица, он еле слышно промолвил: "Я протестую, Я член Народного совета",

Теперь все двенадцать стояли со скрученными руками, лицом к котловану. Норман осторожно оглянулся и увидел у края дороги еще два легковых автомобиля. Раньше он их не заметил, а может быть, они только что подъехали. Возле одной машины стояли два человека в штатском. Норман их не знал. Из другой машины солдаты извлекли высокого человека в костюме и галстук и медленно повели к тому месту, где стоял Норман. Человек шел с трудом, солдаты почти что волокли его. Лицо его было залито кровью, волосы запеклись в кровавый колтун. Когда он был совсем рядом, Норман вскрикнул: он узнал Рейни.

Солдаты втокнули Рейни в группу людей с закрученными за спину руками. Норман придвинулся к нему.

— Это я, Норман, Ты меня слышишь? — шепнул он.

Рейни попытался ответить, но из его горла вырвалось шипение. Потом он простонал:

— Они меня пытали. Они думают, я связан с Морелло.

— Вниз по склону — марш! Не оглядываться! — офицер говорил по-английски,

Они двинулись вниз, по склону котлована, к тому месту, где памятной осенью в течение семи дней и ночей были расставлены палатки демонстрантов. Там правее — палатка Нормана и Морелло...

Но Норман об этом не думал. Идти было тяжело: он подпирал плечом Рейни, его ноги разъезжались на мокрой глине. Иногда под каблук ботинка попадала молодая весенняя трав-

ка, тогда он чувствовал себя устойчивее. Мысль о том, что он никогда не увидит эту траву выросшей, поразила его.

Он попытался вызвать в памяти образ жены, но сосредоточиться на чем-либо было невозможно. Всем своим существом он ощущал — не слышал, а ощущал — за своей спиной шаги солдат с автоматами "ЭК" у груди.

Рейни тяжело сипел, и Норману казалось, что он не дойдет до низу. И вдруг неожиданно отчетливо Рейни произнес:

— Норман, прости меня, я подлец. Я вас сюда заманил.

— Но ты ведь тоже здесь. Ты ведь не мог знать...

— Я все знал, Норман. Они обещали меня не трогать. Я подлец,

И Рейни еще тяжелее навалился на плечо Нормана.

Все это уже не имело значения. Противоположный крутой склон котлована был в десяти шагах.

Норман услышал бормотание. Это был высокий негр — тот, что пытался бежать. Лицо его было желтым, глаза закрытыми. Дрожащими распухшими губами он произносил:

— ...Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земли, как на небеси. Хлеб наш насущный дай нам днесь...

Норман не знал этих слов, но они возбудили сложную цепь ассоциаций в его почти уже отключившемся мозгу; и совершенно неожиданно для себя он громко сказал слова, которые выучил в детстве и никогда не вспоминал:

— Шма Израэль, Адонай Элохейну, Аданай эхад...

Это было странно и неожиданно. Но удивиться Норман не успел...



Яков РАБИНЕР

## БЕЖАЛИ БУКВЫ, ВСПЫХИВАЯ БЛИЦЕМ ДРЕВО ИСТИНЫ

Туда, в эдемский сад, к вершинам,  
Там древо истины цветет —  
Уродцем, многоруким Шивой,  
Роняющим на землю плод.

Там полон болью каждый атом  
И дышат отдаленным адом  
На горизонте облака,  
С огнем и пеплом по бокам.

Там мудрый змий, как страж тотема,  
Навстречу выползет шипя,  
Три раза обовьет тебя  
И яд вонзит поглубже в темя.

И только тишина вокруг,  
Душа, ликуя и страдая,

Как бы очертит зыбкий круг,  
Ад отделяющий от Рая.

## ПОТОП

Гроза шумела будто навека  
И челюсти смыкали облака  
И гром гремел, как будто сам всевышний  
Решил устроить кегельбан на крыше

И мысли плавали в разжиженном мозгу,  
Слова неслись ручьями с влажных губ

И в мыльных пузырях, весь, с головы до ног  
Стоял и мучился великий демагог.

Перекрывая панику трибун,  
Какой-то подхалим орал: "Гребу!"

А дождь шумел. Сквозь дни прошел, протек,  
Изнемогая в солнечном покое, —  
Гаргантюа небесный, смяв рукою,  
Землей как губкою иссохший рот утер.

## САМИ

Камень на камень,  
Камень на камень —  
Строим тюрьму мы своими руками.

Строим надежно  
И не в убыток —  
Двор для прогулок и камеры пыток.

Кончим работу и весело  
Сами себя закуем в кандалы.

Сами закроемся в камерах наших,  
Сами носами уткнемся в параши.

Только вот дальше идти не дерзая,  
Кротко замрем в ожиданье хозяев.

Встретим их громким и дружным "Ура!"  
Скажем: "скорей, за работу пора".

Сами назначим без всякой возни,  
Кто кого будет пытаться и казнить.

Сами спокойно и в рамках приличия  
Сладко на стульях уснем электрических.

Сами подставим под дула затылки,  
Сами засунемся в костедробилки.

Право, приятель, ну что за морока? —  
Жить на свободе без смысла и "срока".

## КТО?

Кто расставляет нас на шахматной доске:  
Того согбенного пред тем надменным в храме  
И роль моя написана, но кем,  
Кто за спиной торчит в суфлерской яме?

Кто ночью в небо вывел столько звезд  
И голую тебя одел в сиянье?  
Кто нас влечет за сотни тысяч верст  
От очагов и лиц родных в изгнанье?

Кто тащит нас под страшный потолок  
И в руки кисть кладет и губы мукой сводит?  
Кто это море бешеное приволок,  
Что цепь грызет как будто пес господен?

Кто в душу мне вложил тоску и боль,  
Кто жизнь мою с тобою подытожит,  
С кем рассчитаться мне — с самим собой,  
А если нет — то с кем?  
Скажи, о Боже.

## КРИК

Троллейбусы, срезающие взгляд  
Машин и шин змеиное шипенье.  
Мысль на бегу: "На кой все это ляд?"  
И город к вечеру — в цветной  
Отливной пене.

Потом воспоминанья: чей-то жест,  
Обрывок спора. Анекдот из трепа.  
День, как отточенный тяжелый жезл,  
Безжалостно вонзившийся под ребра.

Зато потом — веселый грешный жар,  
Отдохновенье духа, песня песен.  
Когда б не это — пропади и спейся  
Усталая, безгрешная душа.

Еще от книг тончайший аромат  
Бумаги, букв, даров открытых в поте.  
Да, аромат. И аромат и мат  
Каких-то черных грязных подворотен,

Клоачных ям, где окон желтый свет  
Сверлит в затылок всем: "Исхода нет!"

## ВЗЛЕТЕВШИЙ ГОРОД

Очнись, поработай Родченко.  
Ручаюсь — не будешь в раскаяньи.  
Помечен, как птица в Аскании,  
Весь город неоновым росчерком,

Секунда и эти коробки  
Из стекла, бетона и стали,  
Как будто под выстрел короткий  
Взметнутся испуганной стаей.

Сначала — собор старинный  
Громадной свечой стеариновой.

За ним лошадиным цугом  
Потянутся, в небо вонзаясь:  
Тяжелое тулово ЦУМа,  
Ночной саркофаг вокзала.

Кафе чуть приглушенный улей  
Взметнется и взмоет над площадью,  
Сдвигая, как в кубрике стулья,  
Трезвоня, как в колокол, ложками.

Как будто нагайкой взвитая,  
Эфир раскаляя басом,  
Скелетом гигантопитека  
Взовьется радиобашня.

Все взмоют: дома и машины  
И толпы усталого люда.  
Все взвоют: кто писком мышинным,  
Кто в каменной ярости лютой.

А утром подымут головы  
Владыки пропавшего города

И ахнут, на свет выползая —  
Где люди, где зданья?

Подлая

Какая корова слизала? —  
Ни города и ни подданных.

Искать, но кого? Не резонно.  
Все пусто до горизонта.

Жуки проползают тихие.  
Осы проносятся мимо.  
Часы на запястье тикают,  
Как часовая мина.

## НОЧЬ

Дождь с фонарем в руках  
Куда-то по улочкам шел.  
Беззубая шлюха-осень  
Листвою плевалась в канал.  
А там, где грязь с нечистотами  
Блестит, как китайский шелк,  
Пробиралась крыса  
Лабиринтами сточных канав.

\* \* \*

Освобождаюсь... А извне  
Доходит звук, но глуше, тише,  
Как будто дождь стучит по крыше,  
По дому тайному во мне.

А в доме пусто. Никого.  
И стол накрыт для одного,  
Еще без грома и без молнии  
Бумаги белое безмолвие.

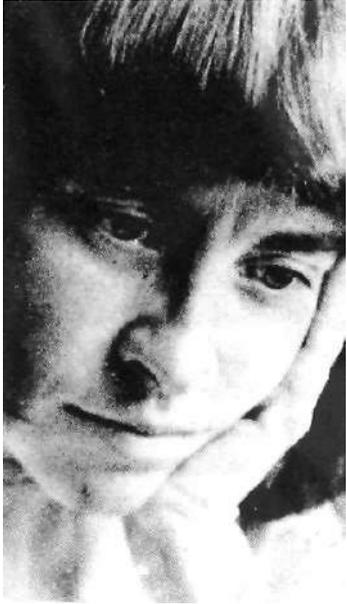
Еще как в первый день библейский:  
Неотделима твердь от вод.  
Хожу... Скрипит устало пол  
И голосов неясных полн  
Мой дом, в котором  
Никого.

## НЕОН

Неон сочился так кроваво-красным  
В названии мясного магазина,  
Как будто в бойне, над мычащим мясом  
Не прекращала танец гильотина.

Бежали буквы, вспыхивая блицем.  
Асфальт горел витринам рыжим в тон  
И каждого прохожего — в убийцу  
Гримировал сочащийся неон.

И только выше всех — кариатиды.  
Устав держать полздания собою:  
Переглянулись и за все обиды —  
Спокойно  
Расступились над толпою.



Лия ВЛАДИМИРОВА

## ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО БЛОКНОТА

Города и страны.  
Полный зноя день,  
Ветреной поляны  
Зелень, полутень.

Солнечные пятна  
В соснах, на земле.  
Весь медово-мятный  
День навеселе.

Поезда и страны.  
Ветер из окон.  
Жданно ли, нежданно  
Явь уходит в сон, —

В сон мостов, каналов,  
Сумрачной весны —  
И дворцов усталых  
Тайны, тишины.

Времени законы  
Властны ли над ней,  
Юной Дездемоной,  
Горечью моей?

Ах, венецианка,  
Видно, неспроста  
Ревности приманка —  
Честь и чистота.

И бессмертна школа  
Страсти и тщеты.  
Чуткие гондолы,  
Тихие мосты...

Будто чьи-то тени  
Шепчутся, когда  
Утром льнет к ступеням  
Сонная вода.

Дали, дали, страны,  
Синий взгляд озер,  
Мельком из тумана  
Глянул Эльсинор.

Там вражда кипела,  
Застя небеса,  
Там цвела и пела  
Девица-краса,

В наших буднях шумных  
Нас не раз кольнет  
Слов ее безумных  
Горестный полет.

В воды погружалась,  
Изойдя тоской,

И преображалась  
В воздух и покой.

Дали, дали, страны.  
Долгий перегон.  
Сон мой долгожданный,  
Мой неожиданный сон!

Памяти отравы  
Вдоволь я напьюсь,  
Будто, вжавшись в травы,  
Дышит рядом Русь.

Молодо и дико  
В чащу погружусь,  
Оборву чернику,  
В прошлое вгляжусь.

Память, год от года  
Горестней дыши  
Вольностью природы,  
Воздухом души.

И в былом кипенье  
Ливней и берез —  
Светопись, волнение  
Прошумевших слез.

Города и страны,  
Дали, поезда.  
Сон мой, сон неожиданный!  
Радость, боль, беда!

Времени законы  
Властны ли над ней,  
Свежей, законной  
Памятью моей?

Темно-светло-синий,  
Влажный взгляд озер.  
Слитность, плавность линий,  
Ясность и простор.

Дальняя квартира,  
Время, погоди!  
Благодатность мира  
Чутко спит в груди.

День мой, день неожиданный,  
Радость, боль, беда!  
Поезда и страны,  
Дали, города...

## **В МЕТА ДИ СОРРЕНТО**

Только вспомню тень проулка  
И ступенек крутизну,  
Подымающихся гулко  
В глубину, в голубизну.  
Среди грохота и зноя  
Крепнет, искрится оно,  
Одиночество дневное,  
Перезрелое вино.  
Пьяный воздух пью горстями,  
Будто просыпаюсь — в сон.  
Будем тихими гостями  
У грохочущих окон.

## **В ПОМПЕЯХ**

Среди дворцов, среди развалин  
Брожу без цели, наугад.

Рассеян, робок и печален  
Мой оступающийся взгляд.

Кирпич, и пыль, и запустенье.  
И, плиты по пути взорвав,  
Природа празднует цветенье  
Горячих одичалых трав.

И кот среди камней плурует,  
Как будто гость из тех времен,  
С которыми соединяет  
Быть может, память или сон.

Зачем же зрением упорным  
Стремлюсь сквозь хаос и развал  
Туда, где в прахе, чудотворно  
Просвет внезапный заиграл?

И вспыхнул цвет. Воскресли фрески.  
Полет и музыка. Продлись,  
Продлись в волнении и блеске  
Неостывающая жизнь!

Еще не раз из праха встанет  
Любовь иль голод, все равно.  
Еще не раз красotka глянет  
В незащищенное окно,

Еще не раз раздастся топот  
По утомленной мостовой,  
Еще над нами длится опыт  
Пытливой вечности живой.

## **НА КАПРИ**

Город в зелени, на скалах.  
Горный воздух крепок, чист.

Но для глаз моих усталых  
Остров остр и каменист.

Да и встречный смотрит косо,  
Да и мрачностью грешим.  
Не попасть бы под колеса  
Обгоняющих машин.

Впечатленья слишком тощи.  
Путь все круче, все душней.  
Те же розы, те же рощи,  
Тот же грохот среди камней.

Но под грохотом и пылью  
Мы почувствовать могли  
Южной жизни изобилье,  
Соки солнечной земли.

Опускаемся с обрыва.  
Узких улочек витки,  
С поворота — блеск залива  
И фруктовые лотки.

Цвет вечерний, свет нездешний  
В остывающем песке...  
Вечно-спелый вкус черешни  
У меня на языке.

## **В КОПЕНГАГЕНЕ**

1

Мне как будто от века знакома  
Незнакомая эта страна.  
Взглядом доброго датского гнома  
Околдована я, пленена.

А на площади, в вазах огромных,  
Избежав сувенирных холстов,  
Хороводы роскошных и скромных,  
И садовых, и диких цветов.

Посидим на скамейке у сада,  
Из которого ветер принес  
Благодатную горечь, прохладу  
От сирени и мокрых берез.

В этом городе нету ни крова,  
Ни знакомых. Бредем на авось.  
Горькой сыростью ветра морского  
Мы с тобой пропитались насквозь.

Не позавтракав, не пообедав,  
Мы причастны к сообществу птиц  
В тихом городе велосипедов  
И сурово-приветливых лиц.

Не ропщу на свое безъязычье,  
На отсутствие дружеских стен.  
Что-то вольное, дикое, птичье  
Мне от века досталось взамен.

Чьих-то судеб завязки, развязки  
В папках улиц хранит старина.  
Словно хмель недосказанной сказки,  
Бродит в сердце чужая страна.

Впрочем, полно! Да разве — чужая?  
Каждый дом, каждый камень знаком,  
Дышит город, меня окружая  
Сказкой, былью и тайным сродством.

Смотрит Андерсен мудро и грустно.  
Добрый сказочник, Вам меня жаль?

Очень юно, совсем безыскусно  
Мне на сердце ложится печаль,

2  
Улицы и улочки,  
Тишина окрест,  
Вкус румяной булочки,  
Сказочника жест.

В сердце радость чистая  
Длится целый день:  
Вот она, росистая  
Синяя сирень!

Где-то нежно-розовы  
Ветки миндаля,  
А вот здесь — березовы  
Воздух и земля.

Добрые предания,  
Вымыслы — гурьбой.  
Странное свидание,  
Дания, с тобой!

А светлей — прощание  
Сердцу моему:  
Будто обещание  
Встречи, Почему?

Улицы и улочки,  
Память здешних мест.  
Свежесть датской булочки,  
Кофе — и отъезд.

*Июнь-август 1983*

---

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН**

**ТЕАТР АБСУРДА**

**Комедийно-философское повествование о  
моих двух эмиграциях. Опыт антимаемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я**

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль;  
Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-  
Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт;  
Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно  
бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"**

Инженер Сэм Житницкий; "Оплот Израиля"; Мы жили...  
Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62**

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал;  
Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука —  
жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша  
эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака  
плывут, облака

*Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":*

"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.



Владимир ЛЕФЕВР

## **АЛГЕБРА СОВЕСТИ, ИЛИ ДВЕ ЭТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ**

Эта статья написана на основе одного из моих выступлений и сохраняет стиль свободной устной речи. Поэтому мне не везде удалось выдержать бесстрастный академический тон, и некоторые места, к сожалению, окрашены моими собственными эмоциями и отражают мои предпочтения.

Мне хотелось бы также отметить, что я не моралист, а психолог. Я не отвечаю на вопросы типа: "Как надо себя вести", а пытаюсь выяснить, как люди себя ведут, и как они сами оценивают свое поведение, что они считают хорошим и что плохим, кого они уважают больше и кого меньше,

Оказалось, что ответы на некоторые из таких вопросов могут быть получены с помощью математики.\* Мне удалось построить математическую модель, которая предсказала су-

---

\*

Тот, кто пожелает более подробно ознакомиться со строгой формальной моделью и техникой экспериментов, может обратиться к моей книге: Vladimir A.Lefebvre, Algebra of conscience; A Comparative Analysis of Western and Soviet Ethical Systems, D.Reidel, 1982.

ществование двух совершенно разных складов человеческого сознания. Не трех, не четырех, а именно двух.

Вначале мне казалось, что один из этих двух вариантов действительно что-то описывает, а другой — как это часто бывает в математике, не относится к сути дела. Однако, когда я попытался "вписать" в эту систему образ Павла Корчагина, то оказалось, что он в нее не "лезет".

Вместе с Викторинной Лефевр мы начали более детально анализировать полученные варианты, и у нас возникло подозрение, что дело обстоит более серьезно. А именно: в человеческой культуре реализованы не одна, а две различные этические системы.

В современной американской психологии преобладает эмпирический метод, то есть собираются какие-то данные, обрабатываются, и на их основании строятся статистические гипотезы. Наша же исследовательская работа шла другим путем. Сначала была построена теоретическая модель, которая предсказала определенные выводы, и эксперименты состояли в том, чтобы проверить правильность модели.

Поскольку модель алгебраическая, достаточно было бы одного значимого нарушения, для того чтобы ее опровергнуть.

Модель же предсказывала существование двух этических систем. В первой этической системе объединение добра и зла оценивается негативно. Цель не оправдывает средства. Но, оказывается, что в этой системе положительный индивид априори стремится к компромиссу. Итак, на уровне "цель — средства" — разъединение; на уровне "человек — человек" — компромисс.

Вторая система иная. Цель оправдывает средства. Объединение добра и зла есть добро, Однако положительный индивид априори стремится к конфронтации с другим индивидом.

Важно заметить, что с помощью обычного "здорового смысла" невозможно вывести то, что если объединение добра и зла есть зло, то положительный герой априори стремится к компромиссу с другим человеком. Эта связь далеко не очевидна; ее удается вскрыть, только если пользоваться формальной моделью.

Итак, принцип первой системы: "Я не знаю этого человека, но я должен протянуть ему руку, иначе я упаду в собственных глазах". Принцип второй системы: "Я не знаю этого человека, но я должен стремиться победить его или, по крайней мере, вступить с ним в конфликт, иначе я не буду уважать самого себя". Отрицательный же герой в первой этической системе стремится к конфронтации, а во второй — к компромиссу.

Именно эта схема и реализована сегодня в мире. И то, что это именно так, — можно рассматривать как гигантскую трагедию человечества. Конечно, это не значит, что мир делится на людей "плохих" и людей "хороших". Это слишком примитивное деление, тем не менее, если бы так было, то ситуацию можно было бы назвать счастливой. Потому что, если человек "плохой", то это просто значило бы, что он ошибается, и, приложив какие-то усилия, его можно переубедить. Такой человек (как думают многие американские деятели) не идет на компромисс только потому, что он не понимает всех выгод компромисса.

А что если он не идет на компромисс, потому что он устроен иначе? Если он считает, что идти на компромисс для него позорно?

Рассмотрим один пример. Возьмем, скажем, бывшего президента Соединенных Штатов Дж.Картера, который олицетворяет собой героя первой этической системы. Всеми своими словами и действиями он всегда подчеркивал стремление к компромиссу. Все помнят, например, как в Вене Картер поцеловал Брежнева. Мы специально интересовались, как воспринимают этот поцелуй недавние эмигранты из Советского Союза и американцы. Американцы восприняли это как вполне стандартное проявление христианского поведения. Все недавние эмигранты — как проявление слабости. Потому что в советской системе так ведет себя слабый. А на самом деле ведь Картер играл роль сильного, Было бы попросту грубым заблуждением — считать, что Картер был слаб. Этим поступком он как раз демонстрировал свою силу. Преодолев какие-то неприятные эмоции, он приблизился и на глазах у всего мира поцеловал советского лидера.

Почему столь различно оценивается поведение Картера?

Люди через систему обучения и воспитания усваивают нормативы оценок других людей и самих себя. Модель указала, что в различных системах эти оценки различны, и более того, предсказала характер таких различий. Мы решили проверить это с помощью специальных экспериментов. В них мы предлагали американцам и недавним эмигрантам серию вопросов, требующих оценки объединения добра и зла, с одной стороны, и поведения в конфликтной ситуации — с другой,

Так, на вопрос: "Может ли человек дать на суде ложные показания, чтобы помочь не виновному избежать тюрьмы?" подавляющее большинство американцев дает отрицательный ответ: "Не может", Подавляющее большинство бывших советских граждан говорит: "Может".

"Можно ли на конкурсном экзамене передать шпаргалку близкому другу?" Большинство советских граждан говорит: "Да, конечно". Большинство американцев: "Конечно, нет".

"Можно ли наказать хулигана более строго, чем того требует закон, если это послушит предостережением для других?"

И снова категорически разные ответы. Американцы протестуют против превышения закона, бывшие советские граждане — поддерживают его.

Наконец, еще один вопрос, более деликатный, чем предыдущие: "Может ли врач скрыть от пациента, что тот болен раком, чтобы облегчить его страдания?" Американцы считают, что и в этом случае врач не должен скрывать правды, бывшие советские граждане полагают, что врач поступает гуманно.

Эти вопросы затрагивали широкий спектр целей и средств, и всюду мы получили один и тот же результат — американские и советские граждане отвечали диаметрально противоположно.

Далее предлагалась ситуация: "Достойный человек в конфликте с наглецом стремится к компромиссу". Большинство американцев согласилось с этим. Большинство эмигрантов — оценило такое поведение отрицательно.

Еще одна ситуация: "Группа террористов захватила небольшой самолет. Есть возможность их уничтожить, не нанеся ущерба пассажирам. Другая возможность — сначала вступить с ними в переговоры и попытаться убедить их сдаться. Руководитель группы освобождения принял решение: не вступать ни в какие переговоры с преступниками. Правильно ли он поступил?"

Большинство бывших советских граждан одобрило это решение. Большинство американцев осудило его. Причем интересно, что наше исследование проходило как раз в то время, когда в Тегеране находились американские заложники.

Другой способ проверки модели заключался в анализе нормативных героев художественной литературы.

Рассмотрим с этой точки зрения "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского (в своей книге я посвятил целую главу формальному анализу персонажей этого романа). У Раскольникова две личины — одна принадлежит первой системе, другая — второй. Есть два "сильных" персонажа — Соня (первая этическая система) и Свидригайлов (вторая), и соответственно — Соня идет на компромисс, Свидригайлов бескомпромиссен. И есть два "слабых" персонажа: Лужин — это слабый индивид первой этической системы, он идет на конфронтацию. Лебезятников принадлежит второй этической системе — он слаб и стремится к компромиссу. Причем принадлежность к "слабому" или "сильному" выделяется Достоевским интонацией.

Теперь обратимся к Павлу Корчагину. Островский дал очень ясный нормативный образ положительного героя в советской культуре. И главная черта Корчагина — это постоянное стремление к жертвенной конфронтации.

С другой стороны, такой типично западный литературный герой, как Гамлет, полон сомнений в своей оценке Клавдия и долго не начинает открытую конфронтацию с ним.

Суммируя полученные данные, можно сказать: первая этическая система реализована в западном обществе. Ее основные черты сводятся к тому, что: 1) цель не оправдывает средства; 2) положительный индивид стремится к компро-

миссу с другим индивидом; 3) отрицательный индивид стремится к конфронтации.

Вторая этическая система реализована в Советском Союзе. Ее основные черты сводятся к тому, что: 1) цель оправдывает средства; 2) положительный индивид стремится к конфронтации с другим индивидом; 3) слабая личность идет на компромисс.

Разумеется, в каждом большом обществе реализованы обе этические системы. Но важно доминирование одной из них. В Советском Союзе существует также субкультура, основанная на первой этической системе. И говоря о ней, я бы прежде всего назвал имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Сахаров олицетворяет собой именно первую систему в рамках советской культуры. А отношение к Сахарову до какой-то степени является индикатором симпатий человека и принадлежности его к той или иной этической системе.

Математическая модель дает нам строгие формулы для четырех основных типов личности. Мы их назвали "святой", "герой", "обыватель" и "лицемер",

"Святой" и "герой" отвечают нормативным требованиям своей культуры: они ищут компромисса в первой системе и непримиримы во второй. Разница между ними в том, что "святой" скромнен, он считает себя недостаточно компромиссным (в первой системе) или недостаточно агрессивным (во второй); а "герой", в отличие от "святого", знает, что он ведет себя правильно. "Обыватель" и "лицемер" — "слабые" типы, но "обыватель" знает, что он слаб, а "лицемер" считает себя героем.

Первая этическая система связана с иудео-христианством, Заповеди Моисея формулируют невозможность использования дурных средств для достижения любых целей. А Нагорная проповедь — это "теория личности": личность должна идти на жертвенный компромисс с другой личностью. Идеал первой этической системы олицетворен в образе Христа.

Идеал официальной советской культуры олицетворен в образе Ленина.

Его нормативный портрет был дан Сталиным на встрече с

кремлевскими курсантами вскоре после смерти Ленина. Это была очень интересная речь, и основные ее пункты заключались в следующем: Ленин — это прежде всего гордый борец революции, "горный орел" — грузин Сталин употребил такую восточную метафору. А во-вторых, — он скромнен. И вся ленинская иконографика основана на этих двух моментах: непримиримость и страсть к борьбе плюс скромность.

Я попробую сформулировать общие свойства "святых" первой и второй этической системы. Жертвенность "святого" самим "святым" не осознается. Это другие считают, что он жертвенен. Однако жертва осуществляется в первой и второй этических системах по-разному. В первой системе "святой", как и "герой", идет на жертву через компромисс (поцелуй с противником, грубо говоря); во второй — через конфронтацию.

Официальные портреты Кастро, Каддафи, Хомейни выполнены по трафаретам героя второй этической системы. Но в этот список я не могу вставить ни одного советского лидера. Если вы возьмете сегодняшних членов Политбюро, то нельзя сказать, что люди считают их героями. Если бы был реален честный опрос, то в лучшем случае их характеризовали бы как обычных людей. Хотя официальная пропаганда пытается придать советским лидерам героические черты, но делается это так, что возникает скорее карикатура на героя. В глазах населения члены Политбюро не отличаются никакими героическими свойствами. Другими словами, этический статус нынешних советских руководителей не очень высок, и он таков с точки зрения именно внутренних советских стандартов.

Однако я бы добавил, что статус героических личностей, таких как Троцкий, например, во времена сразу же после революции был очень высок. Своим поведением Троцкий реализовывал именно героический тип второй этической системы.

Сегодня же в советской культуре место героя занимают люди, ныне несуществующие. Это либо герои гражданской войны, в большинстве своем уничтоженные во время репрессий (и именно потому и ставшие героями), либо литературные персонажи.

Страшная опасность для общества, в котором реализована вторая этическая система состоит в том, что оно может породить новое молодое поколение героев, причем героев, типичных для этой системы. И тогда — тогда начнется война каждого героя с каждым героем. Герой должен конфликтовать,

А сейчас в Советском Союзе царит хамство. Хамство возникает как реализация героического поведения на микроуровне. Конечно, "героизм" этот соотносится с нормативным героизмом культуры, как маленькая ящерица с доисторическим динозавром. Они принадлежат к одному виду, но их масштабы разные.

Хамство — это не что иное, как локальное проявление героизма в простых межличностных отношениях. Реальная политическая деятельность в Советском Союзе отсутствует, вообще в Советском Союзе отсутствует крупномасштабная деятельность. Поэтому личность может реализовать героический норматив не в масштабах социального действия (за некоторыми исключениями, конечно), а в масштабах микрокоммуникаций — в масштабах общения с покупателем в магазине, с клиентом в ателье и т.п. Причем, общаясь таким образом, то есть хамя, человек поднимается в собственных глазах.

В Америке все это выглядит иначе. Я допускаю, хотя я сам и не сталкивался с такими фактами, что американка тоже может накричать на слишком капризного клиента. Но, заметьте, она при этом не возвысится в своих глазах, а упадет.

Что касается героя первой этической системы, преобладающей на Западе, и в частности в Америке, то для американцев — а я объехал почти всю Америку и часть Канады — это, как ни странно, приходской священник. Разумеется, я не хочу сказать, что американцы так наивны, что верят в то, что их приходской священник мистер Джонс обладает в действительности всеми качествами героя. Но в своем поведении, в своем общении с прихожанами он формально реализует этот образ.

Не следует думать, что вторая этическая система сегодня реализована только в Советском Союзе. У нас нет строгих данных по китайскому обществу, но создается впечатление, что вторая этическая система реализована и в Китае.

Также у нас есть предположение, что трагедия в Камбодже, когда в результате массового террора погибло несколько миллионов человек, — это реализация одной из фаз развития общества, построенного на основе второй этической системы.

Интересно, что в сегодняшнем Иране, по-видимому, также реализована вторая этическая система. В подтверждение можно привести факт неоднократно отмеченный, и не без удивления, западными корреспондентами: иранские солдаты идут в бой не для того, чтобы победить, а для того, чтобы... умереть. То есть смысл заключается не в победе, а в борьбе, в самом акте непримиримости, в конфронтации.

Любопытна в этом плане фигура Гитлера. Гитлер тоже герой второй этической системы, и немецкий фашизм, судя по всему, есть проявление этой системы, но только уже в другом обществе, на основе другой, нежели в России, специфической культуры, Гитлер и играл роль героя второй этической системы — непримиримого и идущего на конфронтацию.

Вторая этическая система — явление не только двадцатого века, Проанализировав старинные исландские саги, я обнаружил в них образы именно этой системы. Напомню читателю, что эти саги были созданы еще в дохристианской Европе.

\* \* \*

В заключение я хочу сказать, что прежде всего нас интересовали не действия, а оценка этих действий, а также мнение о себе, которое возникает у человека, поступающего тем или иным образом. Американец тоже может лгать; и американцы лгут. Но они при этом падают в своих собственных глазах.

Выяснить, как внутренние переживания человека, связанные с теми отношениями, которые он устанавливает с другими людьми, влияют на его уровень самоуважения, —

было для нас важнейшей задачей. И главный результат этой работы заключается в том, что эти оценки, эти переживания оказались различны в различных системах.

Чтобы поднять себя в собственных глазах, положительный индивид первой (западной) этической системы идет на априорный компромисс, а положительный индивид второй системы, советский индивид, идет на конфронтацию. И можно предположить, что это различие является одним из самых главных в сегодняшнем мире и в его расколе.

ОТ РЕДАКЦИИ

## ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИКИ

*По поводу статьи В. Лефевра о двух этических системах*

Работа Владимира Лефевра "Алгебра совести" и разработанная им модель, предполагающая существование двух этических систем, безусловно, представляет большой интерес. Ее ценность еще более повышается оттого, что в своих выводах автор опирается на математические методы доказательства, исключающие всякого рода субъективные и эмоциональные оценки.

По словам самого Лефевра, за пределами его интересов — интересов психолога — остается оценка того или иного склада человеческого сознания. Свою задачу он видит в том, чтобы вооружить современных социологов и специалистов в области политических наук весьма эффективным инструментом познания. В их распоряжении появляется своего рода психологический комплекс, позволяющий им лучше ориентироваться в современных политических культурах и субкультурах.

Предлагая нашему вниманию две этические системы, автор, однако, отдает предпочтение первой, которая реализуется в современной западной демократии. И он осуждает вторую систему, выступающую в качестве основы тоталитарного склада мышления.

В принципе предпочтение Лефевра вряд ли может вызвать возражения. Люди двадцатого века, познавшие на собственном опыте, что такое Ленин и ленинизм, сталинизм, Хомейни и Каддафи, не могут не отвергнуть этическую культуру, вызвавшую их к жизни.

Если идти дальше, то приходится признать, что и наша эмиграция, вырвавшись из тоталитарного в свободный мир, во многом несет в себе черты второй этической системы. Это печальное признание, но мы не можем его отвергнуть, если хотим смотреть фактам в лицо.

Однако, соглашаясь с Лефевром в его предпочтении, следует сказать и о существующих здесь, с нашей точки зрения, границах. Ведь предпочтение, отдаваемое Лефевром первой этической системе, на самом деле оборачивается идеализацией компромисса как чуть ли не единственного способа решения социально-нравственных конфликтов современности. Приводимый автором пример с поцелуем Картера выглядит, скорее, искусственно. Для его математической модели, возможно, очень важно выяснить, как относятся к этому поцелую американцы и вчерашние эмигранты. Поцелуй Картера, в глазах Лефевра, есть некое выражение его политики компромисса, к которой советские эмигранты относятся резко отрицательно.

Возникает, однако, вопрос: почему автор "закладывает" в свой эксперимент этот второстепенный и в общем ни о чем не говорящий факт? Почему бы, например, ему не задаться таким вопросом: что является собой детант, развязавший на многие годы руки советскому империализму? Не есть ли он куда более отчетливое проявление картековского стремления к компромиссу, чем его поцелуй Брежнева? И как детант, обернувшись, кровавой баней для того же Афганистана, согласуется с требованиями первой этической системы? И не является ли более полезной для дела демократии конфронтация, избранная Рейганом, нежели компромисс, утверждавшийся Картером? Или Рейган, в отличие от Картера, как и Хомейни, тоже "герой" второй этической системы?

Пойдем дальше и доведем до логического конца пример автора с террористами. Согласно Лефевру и идеализируемой им первой этической системе, в случае захвата террористами самолета, необходимо не уничтожать их, а вступить с ними в переговоры. Трудно представить, какие неисчислимые жертвы понес бы Израиль в своей борьбе с палестинским террором, если бы придерживался этого морального императива,

И в случае с детантом, и в случае с террором культ компромисса, вытекающий из первой этической системы, объективно приводит к "объединению" добра и зла. Точнее, добро оборачивается злом. То есть происходит то, что негативно оценивается с точки зрения первой этической системы. С некоторым допуском можно было бы сказать, что система отрицает сама себя. Таким образом, безоговорочно принимая модель Лефевра, мы оказываемся в тисках довольно серьезных противоречий.

Впрочем, не будем впадать и в обратную крайность и выплескивать ванночку вместе с ребенком, отрицая важность математизации

социальных явлений. Речь идет лишь о том, что даже самая блестящая формальная модель остается формальной моделью, не способной вобрать в себя все многообразие мира.

*Публикуя комментарий к статье Владимира Лефевра, редакция отнюдь не считает, что разговор о двух этических системах в современном мире этим исчерпан.*

*Мы полагаем, что модель, разработанная Лефевром, заслуживает того, чтобы быть рассмотренной с различных точек зрения, и надеемся, что она явится отправной точкой для серьезной дискуссии на страницах журнала.*



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

## СУМЕРКИ БОГОВ

Куда несут Израиль ветры истории? Всего 36 лет минуло со дня основания еврейского государства. В исторических масштабах это, конечно, срок незначительный. Подводить итоги рановато, но отметить происходящие в Израиле сдвиги, метаморфозы, а может быть, и подспудные движения, разумеется, можно и нужно.

### 1

Израиль доказал на деле свою способность выстоять в войнах, навязанных ему арабским миром. В результате всех споров об "историческом праве" Израиль заработал себе право на существование обильно пролитой кровью на полях сражений.

Но вот уже ряд лет, как главная опасность переместилась. Не вне, а внутри страны возникла угроза существованию Израиля как единственного демократического государства на Ближнем Востоке. Это показали последние (1984) выборы в Кнессет, заведшие страну в политический тупик.

Израиль, характерной чертой которого было единство воли, после выборов оказался Израилем с расщепленной волей, государством на распутье.

Дело даже не столько во враждебности двух политических лагерей, двух партий — "Ликуда" и "Маараха", создавших после долгих и мучительных переговоров правительство национального единства, сколько в том, что народ расколот почти на две равные части. И этот раскол устойчив, что доказано всеми последними семью годами. Образовалось равновесие сил, лишаящее Израиль внутренней стабильности. И эта ситуация, как никакая другая, создана для появления сильной личности, которая будет "володать и править" нами.

Итак, в результате семилетнего правления "Ликуда" страна оказалась в плачевном состоянии. Однако большинство израильтян проголосовало за "Ликуд" и еще более крайние партии. (В кнессет пробрался даже откровенный расист, требующий изгнания арабов. Он собрал 25 тысяч голосов на последних выборах. На предыдущих — за него было подано только 5 тысяч голосов.)

"Ликуд" получил поддержку, несмотря на инфляцию, растущую, как снежный ком, несмотря на затянувшуюся ситуацию в Ливане, требующую жертв, несмотря на замороженный мир с Египтом, которому Израиль возвратил Синай.

Все эти факты тем не менее не повлияли на устойчивость обоих лагерей, действующих на израильской арене. Наоборот, поляризация политических сил даже обострилась.

## 2

Нынешний Израиль вырос из халуцианского (пионерского) корня. Перед первой мировой войной и после нее несколько тысяч еврейских юношей и девушек оставили скамьи университетов в России и Польше, чтобы уехать в Палестину и создать основу еврейского национального очага. Это они организовали трудовые поселения и кибуцы, являющиеся и по сей день гордостью Израиля. Это их лозунгом было самопожертвование во имя идеала. Это они и подросшее молодое

поколение вынесли на своих плечах войну за независимость. Без их усилий в 1948 г. не мог бы быть создан жизнеспособный Израиль.

Демократическое общество было идеалом для тех, кто мечтал о еврейском государстве. Но, как известно, идеал и реальность — вещи довольно далекие друг от друга.

Примером может служить так называемое "дело Лавона" (начало 50-х годов). Суть его коротко сводилась к тому, что в Каире была взорвана американская библиотека. Взрыв этот должен был спровоцировать ссору между США и Египтом, что было как бы выгодно Израилю. Исходил ли этот тайный приказ от министра обороны Израиля Лавона или от Бен-Гуриона, известно не было. Но считая Бен-Гуриона виновным в этом террористическом акте, Израиль отшатнулся от него. Бен-Гурион стал самым оклеветанным человеком в государстве.

Однако в "деле Лавона" уже тогда отразились те подспудные процессы, которые шли в израильском обществе. Этот кризис знаменовал собой не что иное, как усталость Израиля от постоянных призывов быть "избранным народом". Кризис знаменовал собой переход к "мелким делам". Лидером тогда стал Эшкол — человек прагматического склада. Израиль как бы освободился от тяжелого бремени высокой морали и долга.

Однако это освобождение означало смерть халуцианства. Первые еврейские поселенцы выглядели теперь революционерами вчерашнего дня. Им еще поклонялись, но от них старались отмежеваться.

## 3

После ухода со сцены старого поколения лидеров в Израиле на политическом Олимпе возникла некая пустота. Новое поколение лидеров в рабочем движении себя не оправдало, а в националистическом лагере оставался на своем посту лишь последний из могикан — Менахем Бегин. Конечно, выдающейся личностью был еще Моше Даян, но Даяну явно не хватало той широты, которая отличала лидеров старого поколения.

Кроме того, Даян выдвинулся как военачальник, и им оставался до конца своих дней.

Бегин же, хотя и приехал в Израиль в 40-е годы, однако по своему типу был лидером первого поколения. Слабостью Бегина была приверженность к ревизионистскому сионизму школы Жаботинского. Эта школа была далека от израильской действительности, требовавшей политической эластичности. Тем не менее Бегин пользовался огромным авторитетом, и, несмотря на то что он не был человеком уравновешенным, — ему были свойственны периоды упадка, — Бегин мог вести за собой израильский народ.

Однако карьера Бегина кончилась, если хотите, — драмой. Политической драмой. Бегину пришлось уйти в тот момент, когда ему казалось, что он может принести Израилю мир, когда он провозгласил языком Библии "и успокоится страна на сорок лет".

Двинув войска на Ливан в надежде установить там при поддержке христианской общины дружественный Израилю режим, он не достиг своей цели. Он совершил роковую политическую ошибку. Из Ливана Израилю приходится убираться, что называется, не солоно хлебавши, а Бегину пришлось расстаться со своим креслом главы правительства,

Бегин принадлежал к той категории лидеров, которая, как говорят на иврите, имела свой "хазон", то есть свое духовное виденье. После его ухода Израиль остался не просто без вождя, но без вождя духовного. Середняки заполнили политическую арену. Израиль оказался государством без лидера.

Можно, конечно, сказать, что та же картина наблюдается сегодня во всем мире. Но для еврейского государства это особенно печально, поскольку еврейское государство, в отличие от всех государств мира, и сегодня должно еще отстаивать свое право на существование.

## 4

Сегодня в партии "Ликуд" подбираются к власти лидеры нового типа. Альфой и омегой их политического кредо является сила. Эти лидеры выросли на дрожжах постоянного воен-

ного конфликта между Израилем и арабским миром, Они верят, что этот гордиев узел можно разрубить мечом, Меч и есть символ их веры.

Если власть сосредоточится в руках таких политиков, то это будет означать полный переворот в сионизме: на смену сионизму, основанному на человеческих и моральных принципах и прибегающему к силе только как к средству обороны, придет иной сионизм — базирующийся на силе и только на силе.

Результатом этого будет обострение еврейско-арабского конфликта, который тогда уж, наверное, превратится в столетнюю войну. Здесь действует некий закон сообщающихся сосудов, — крайний экстремизм в Израиле вызывает к жизни такой же экстремизм в арабском мире, и наоборот.

Лидеры рабочей партии "Маарах" далеки от политического авантюризма, и в этом их преимущество. Но кровеносные сосуды "Маараха" закупорены, и он оказывается неспособным навести мосты к новому рабочему классу, большинство которого составляют выходцы из стран Африки и Азии. Может быть, этим и объясняется тот парадокс, что на выборах, главный контингент голосующих за "Ликуд" составляли рабочие и мелкий люд восточного еврейства, а рабочая партия "Маарах" находила поддержку преимущественно среди обеспеченных и более образованных кругов европейских евреев.

Социальная структура в Израиле теперь значительно усложнена. Однако главное в том, что социальная дифференциация во многом совпадает с этнической. Низшие социальные слои рекрутируются в основном из выходцев из стран, где уровень жизни и соответственно уровень культуры значительно ниже европейских.

Я думаю, что наряду с кризисом лидерства, этнический конфликт явился вторым фактором, который обусловил глубокие сдвиги в израильском обществе.

При этом нельзя забывать, что поляризация политических сил уходит своими корнями в раскол сионизма, который возник в 20-е годы. И начало ему было положено Жаботин-

ским, который начал пропагандировать "чистый" сионизм, "Чистый" сионизм — это сионизм, отмежевывающийся от любых социальных проблем. Для него характерно презрительное отношение к "малым делам", к "крохоборческому" заселению Палестины. Символом его веры было завоевание страны при поддержке Англии или другой какой-либо державы.

Раскол, начавшийся тогда, медленно, но верно разъедал Израиль, и только поняв это, можно понять, что то, к чему пришел сегодня Израиль, — явление не внезапное, а закономерное.

Двадцать девять лет господствовала в Израиле доктрина так называемого "рабочего сионизма". Сионизма в ней было не бог весть сколько. Но именно эта доктрина форсировала развитие капитализма в Израиле.

"Рабочий сионизм" способствовал и внутренней стабильности страны. Он был той идеологией, вокруг которой формировались основные силы Израиля, и благодаря его идеям израильский народ был един.

В 1977 г. к власти пришла партия "Херут". Равновесие политической ориентации в Израиле было нарушено. Страна дала крен вправо. Израиль стал похож на накренившийся корабль, к тому же управляемый капитанами второго и третьего ранга. Результаты выборов 1984 г. только подтвердили это и закрепили поляризацию политических сил.

Целостный или нецелостный Израиль — об этом можно спорить, на этот счет есть разные мнения. Но политический экстремизм вреден, опасен для Израиля. Он способствует изоляции его в культурном мире, играет на руку крайним, террористическим элементам в арабском мире, мечтающим об уничтожении еврейского государства. Он, наконец, нагнетает атмосферу внутри самого Израиля, лишая его национального единства.

Пока политический экстремизм был только нереализованной идеей, одним из течений политической мысли, — это не было опасно. Но когда он становится центральной политической силой, то это ведет к краху, Экстремизм по самой своей

сущности не может быть центральной идеей — это обман зрения.

## 5

Теперь обратимся к третьему по счету фактору, объясняющему нынешний упадок Израиля.

Как ни парадоксально это звучит, им является блестящая победа Израиля в Шестидневной войне 1967 г. Победа принесла Израилю крупнейшие территориальные завоевания. Но эти территории были заселены множеством арабов.

Помимо этого, победа в Шестидневной войне разрушила национальное единство страны. До сих пор Израиль оказывается неспособным принять однозначное решение о будущем оккупированных территорий. Это отсутствие решения незаметно, подспудно разъедает волю Израиля, практически парализует ее.

Итак, закат халуцианства, уход лидеров, этническая разобщенность Израиля и победа 1967 г. разрыхлили, подготовили почву для коренной перемены в положении страны.

Война в Ливане еще не закончена. Это была первая война, инициатива которой всецело принадлежала Израилю. Она не была навязана арабами, как все предыдущие. И далеко не случайно, что Израиль потерпел фиаско, — он хотел опрокинуть реальное соотношение сил, прибегнув к мечу. Но Ливанская война воочию показала, что военными действиями невозможно добиться мира. Невозможно продиктовать условия мира арабам, даже победив их в войне. Еврейское государство достаточно сильно, чтобы защитить себя от арабов, но у него явно не хватает сил, чтобы поставить арабский мир на колени.

Похоже, однако, что Израиль этот урок еще не усвоил, И в этом его трагедия.

Мирный договор с Египтом смешал политические карты в стране. Сегодня этот мир заморожен, потому что Египет ищет сближения с арабским миром. Но не только поэтому. Мир с Египтом для идеологов так называемого "силового сионизма" был лишь политическим маневром, а его идеи

ведут к появлению террористических групп, Недавно было раскрыто несколько таких групп на западном берегу Иордана. Они собирались взорвать мечеть Омара, чтобы получить возможность восстановить Храм. Одно вынашивание таких планов граничит с безумием и показывает, куда ведет комбинация религиозно-мистического сионизма с "силовым сионизмом".

Если Израиль хочет жить, он должен преодолеть это безумие, хотя источник этого безумия — отчаяние от невозможности добиться мира с арабами и вера, что другого пути нет. Но так выраженный патриотизм ведет к краху.

## 6

Бен-Гурион был наиболее прозорливым вождем сионистского движения и Израиля. Он не только согласился на раздел Палестины в 1947 году и тем самым сделал возможным образование еврейского государства, но и в 1967 году, когда Насер угрожал Израилю, отказывался нанести внезапный удар Египту.

По свидетельству автора трехтомной биографии Бен-Гуриона Михаэля Бар-Зогера, Бен-Гурион утверждал, что Израиль не может себе позволить выступить в качестве агрессора. Он хотел, чтобы Израиль, если ему придется вступить в войну, вступал бы в войну оборонительную. Во имя мира Бен-Гурион готов был пожертвовать военной инициативой, военными успехами Израиля. И во имя мира он готов был после блестящей победы возвратить все завоеванные территории (кроме Иерусалима, а несколько позже Голанских высот), Бен-Гурион считал, что высшая цель Израиля — мир, ибо только мир может надежно обеспечить будущее страны.

Что ж, времена меняются, все течет. И сегодняшний Израиль, хотя и представляет собой продолжение Израиля 40-х годов, тем не менее мало его напоминает. Но Израиль не раз спасало чудо, то есть непредвиденное ни политиками, ни историками благоприятное стечение обстоятельств. Так что не будем терять веры и сегодня.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

## ПИСЬМА В РОССИЮ

### АМЕРИКАНЦЫ В ЖИЗНИ И НА КАФЕДРЕ

Дорогие друзья!

Сегодня я хочу сообщить вам — по совету Арона, — что вы живете в устной, или оральной, культуре, в то время как я оказался в письменной. Ну, конечно, это некоторое преувеличение: в каждой культуре есть абсолютно все, что имеется в другой, дело только в пропорциях.

И все-таки я попытаюсь вам показать, что письменный и устный текст, несмотря на мощь аудиовизуальных средств массовой информации в США и печатного слова в другом месте, играют разную роль здесь и там.

Бюрократия, конечно, универсальное явление. Обычно гражданин каждой страны тщится вам доказать, что его бюрократия заведомо хуже всех остальных. (Попробуйте жителю одной ближневосточной страны, в которой я недавно побывал, доказать, что его бюрократия не худшая в мире.) Разумеется, существует множество индикаторов для характеристики бюрократии, один из них — число исходящих бумаг.

Так вот, по этому параметру местный управленческий стиль вне вашего воображения. В моем департаменте каждый день вы получаете от разного начальства буквально десять различных документов. Попытайтесь вспомнить, сколько вы получили письменных распоряжений, напоминаний, уведомлений вчера в вашем учреждении. И вы поверите мне, что я здесь не преувеличиваю.

Ну что там вертикальная цепочка — то же самое по горизонтальной. Мыслимо ли в вашем учреждении, чтобы ваш добрый коллега из соседней комнаты слал вам по малейшему поводу "мемо" вместо того, чтобы забежать к вам на секунду и выяснить то, что ему нужно. Даже секретарша бросает вам в почтовый ящик, висящий в канцелярии вашего департамента, ответ на вопрос или просьбу, с которыми вы обратились к ней несколько минут назад. Даже мой прямой сосед по офису (друг другу слышны наши телефонные звонки), несмотря на наши как бы дружественные отношения, не пренебрегает этой формой общения и время от времени шлет мне разные послания.

Страшно подумать, что принесет в этой области персональный компьютер. Он отстукивает с особой легкостью всевозможные тексты и уже начинает вас связывать, как телегайп, с вашими коллегами, начальниками, разными учреждениями. В офисе одного моего знакомого терминал после нажима соответствующей клавиши сообщает вам все, что руководство или другие отделы хотят вам сообщить.

Столь великая роль письменных текстов в общении на службе объясняется, видимо, несколькими факторами. На первом месте все то же "прайвиси". Посылая вам бумажку вместо звонка по телефону или, упаси Бог, стука в дверь, вас освобождают от незапланированного вторжения в вашу жизнь. Впрочем, вам предоставляют возможность отправить этот документ в архив и в то же время поразмыслить над его содержанием.

Но это, конечно, следствия. Предпочтение письменного слова устному имеет более глубокие причины. Ведь не прайвиси объясняет, почему вся университетская и академичес-

кая жизнь так монополизирована письменностью. Американский студент почти понятия не имеет об устном экзамене. Все экзамены письменные (это либо ответы на закрытые вопросы с одной правильной альтернативой, либо эссе на заданную тему). К тому же студенты пишут непрерывные доклады на всевозможные темы по всем предметам.

Еще более поразительна научная деятельность, по крайней мере, в области социальных наук. Вам хорошо известно, что число опубликованных работ — с учетом престижности журнала или издательства — является главным индикатором статуса ученого в этой стране, включая преподавателя университета. Его лекторская деятельность мало кого интересует, особенно в большом университете. (Иначе дело обстоит в маленьких частных колледжах, где главная задача — учить студентов первых курсов. Такие колледжи не имеют аспирантур и дают только первую степень — бакалавра.)

Поэтому американские профессора, за редчайшим исключением, очень плохие лекторы. Красноречие, тонкий юмор, блеск эрудиции и все прочие атрибуты хорошего лектора в России, да и вообще в Европе, им по сути неизвестны. Истинное красноречие здесь надо искать в протестантских церквях. Я был в одной из них, посещаемой только черными (меня наш аспирант пригласил на крестины) и был воистину потрясен элоквенцией черного пастора. Что же касается американских профессоров, то из всех, кого мне довелось слышать за эти пять лет, только Айзик Азимов оказался хорошим, остроумным и образованным оратором.

Письменная ориентация американских ученых делает их конференции чрезвычайно скучными. Они не только посредственные ораторы, но и за редким исключением плохие полемисты, Наука высокой интеллектуальной полемики, интеллектуального фехтования здесь находится в зачаточном состоянии. (Политические дебаты поэтому же для меня тоже скучны.) Впрочем, даже по существу, конференции тех же социологов неинтересны. Все, что интересно, или же напечатано или будет не позднее как завтра опубликовано в нескольких версиях. Поэтому на конференциях полезны только личные контакты.

И здесь мы касаемся важной "независимой переменной", которая объясняет низкий уровень "оральности" в американской культуре. Это — отсутствие ограничений на письменную деятельность, которое сочетается с доступностью всех источников информации. В этих обстоятельствах не приходится ждать на заседании, семинаре или конференции смелого выступления, скандального протеста, язвительных вопросов, меняющейся атмосферы в зале, обмена многозначительными взглядами и записками, пылающих лиц девушек и восторженных взглядов юношей. Короче говоря, нет здесь того, что способно наэлектризовать любое заседание и превратить его в "событие", которое затем надолго станет темой обсуждений между участниками и даже теми, кто получил о нем информацию из вторых рук. Что и говорить, письменная ориентация (или, точнее, возможность все записать да потом еще размножить на ксероксе, страница в университете стоит пять центов) лишает меня столь важного аромата культурной жизни, которым я так наслаждался в шестидесятые.

И если в моей прошлой жизни все мои коллеги вели учет своим удачным и ярким выступлениям с не меньшим вниманием, чем опубликованным статьям и книгам, то здесь этого нет начисто. Почти наверняка социологи здесь читают профессиональную литературу гораздо более интенсивно, чем в Москве или Ленинграде. Не беря в руки годами "худлит", американские ученые тщательно следят за огромным числом профессиональных публикаций. Здесь невозможен тип ученого, который черпает свою информацию главным образом из бесед с видными коллегами в других областях науки. Трудно отыскать социологов, которые будут с увлечением тратить время, рассказывая другим, что они недавно узнали, прочли, придумали. Разговор как источник информации здесь играет ничтожную роль.

Но дело не только в том, что глухонемой ученый здесь не испытывал бы больших неудобств.

Разговор вообще относится к числу малоразвитых социальных феноменов в американской жизни. Он преследует краткосрочные утилитарные цели и ни в коей степени не прев-

ратился в самостоятельную культурную ценность, как в России или Англии. В Америке почти никто не ждет удовольствия от беседы, как игры ума, как соревнования интеллектов и остроумия, как взаимодействия мыслящих существ, играющих в четыре или даже шесть или восемь рук блистательную импровизацию, доставляющую исполнителям неизъяснимое удовольствие непредвидимыми пассажами, полифонией, неожиданным развитием главной темы, аккомпанементом и многим другим. Здесь в разговоре слушают одну мелодию, аранжированную не лучше, чем "Чижик-пыжик". Всякого рода фиоритуры глубоко чужды тем, кто воспитан в протестантском духе и даже не вкушал величие и блеск органной музыки католического храма. И уже забудьте о таком замечательном пути к сердцу женщины, как изысканный интеллектуальный флирт. О нем здесь даже не слышали, и я ни разу не встречал упоминаний о таком средстве сексуального успеха даже в американских книгах или кино. Разве только Вуди Аллен иногда в своих фильмах приближается к этому элементу московско-ленинградской жизни, но и это далеко от ваших стандартов.

Здесь плохо понимают таинство разговора двух или нескольких друзей. Здесь нет ощущения святотатства, если кто-либо расскажет о содержании своего разговора со своим другом третьему лицу или даже расскажет о нем публично. Конечно, это некоторое преувеличение. Конфиденциальность разговора все-таки многими принимается в расчет, но далеко не так, как в моей прошлой и вашей настоящей жизни. Может быть, это прозвучит парадоксально, но в чем-то здесь нет столь резкого отличия двух сфер жизни — частной и публичной.

Недавно у меня в Лансинге был драматичный разговор с теми, кто считают себя моими друзьями. Где-то в конце нашей беседы они начали меня упрекать в том, что я позволяю себе слишком категорические оценки в отношении признанных социологов и вообще склонен к высказываниям, которые не приняты в академической среде. Взбешенный, я ответил, что ведь они ссылаются только на то, что я им высказал

в личных беседах, что они не могут привести ни одного публичного высказывания, которое могло бы оказаться вредным для стабилизации моей карьеры. На это они единодушно ответили, что они не видят принципиальных различий между тем, что я говорю им и публике и что я должен быть готов к тому, что они процитируют меня и в других местах. Более того, один из этих моих американских друзей, человек добрейший, счел возможным использовать в этой полемике то, что я ему сказал тет-а-тет.

Не менее поразительным был и другой аспект нашей бурной беседы, Защищая мое право на экстравагантные высказывания, я заметил, что они вовсе не всегда отражают мои истинные взгляды на данную проблему, что ради обострения анализа иногда интересно защищать позицию, и не являющуюся твоей собственной. Это замечание вызвало у моих собеседников приступ ярости (насколько они способны ее проявлять). Как! — воскликнули они чуть ли не хором, — значит, не все, что ты нам говорил, есть твоя точка зрения? Зачем же мы тогда с ней спорили? На это я возразил примерно так: "А разве в общем интеллектуальном споре столь важно, кто что говорит, разве менее важен объект дискуссии, игра ума, "вращение" объекта, как немецкий философ Эдмунд Гуссерль рекомендовал делать. Разве, — продолжал я, — не интересна новая реальность, возникающая в споре, где и происходят те интеллектуальные игры, которые становятся столь высоким источником наслаждения". Мои собеседники абсолютно не в состоянии были понять этого декадентства и интеллектуального разврата. Не помогли мне и мои ссылки на Ирвинга Гофмана, замечательного американского социолога, который, видимо, несмотря на позднейшее формальное признание, по-прежнему не понят коллегами. А ведь Гофман блистательно показал, как люди все время создают новые реальности и как это создание почему-то приятных им реальностей (хотя бы, потому что там им интереснее, веселее) становится сегодня одним из самых важных занятий цивилизованного человека. Это показалось моим гостям (хотя они были высококвалифицированными социологами) слишком

сложным и где-то граничило с прямым бесчестьем. Кстати, американские социологи столь уверены в честности тех, кого они опрашивают, что почти полностью игнорируют возможность недостоверности той информации, на основе которой они строят свои модели и выводы.

Что и говорить, не так просто раскрутить и осознать все последствия этой рекламируемой и действительно существующей американской честности, которая, однако, видимо, плохо совместима с изощренностью человеческого общения. Обстоятельство, которое было так ясно еще читателям "Опасных связей" де Лакло, где бесконечная, многослойная лож компенсировалась высочайшей тонкостью человеческого ума.

Значимость и корни разговорной культуры хорошо изучать, сравнивая поведение так называемых интеллигентных эмигрантов "здесь" и "там". Многие из них мало чем отличались от вас "там" по вовлеченности в "культ беседы". Здесь они, спустя считанные недели, мало отличаются от своих новых соотечественников в своем равнодушии к этому времяпрепровождению. Недавно я попал на шестидесятилетний юбилей одной более чем экзотической и чрезвычайно достойной личности, сумевшей как-то соединить в своих интересах математику, поэзию и многое другое. На торжество пришли бывшие соотечественники, и выяснилось, что говорить-то им с юбиляром не о чем, разве что похвастаться какими-то приобретениями.

Все это свидетельствует в пользу моего нынешнего скептического отношения к роли культуры. Она кажется всемогущей и все определяющей только тогда, когда идет в унисон с господствующей социальной и политической системой. Именно тогда создается ощущение, что все, что сейчас происходит: распространенные верования, моральные принципы, чуть ли не сама социальная система, — является продуктом этой культуры. Американские социологи и антропологи особенно уверены во всесии культуры как таковой. Толкотт Парсонс был тем американским социологом, который наиболее последовательно развил эту точку зрения и довел ее до уровня одной из самых глобальных теорий нашего века.

Мне же представляется, что это не так. Нет, нет, я вовсе не отрицаю большого влияния усвоенных традиций, норм поведения, даже чувств на человеческое поведение. С возрастом от них все труднее отказываться, и поэтому наиболее близкие мне духовно здесь люди — это эмигранты, еще более пожилые, чем я. Вместе с тем, как только новые социальные, экономические и политические реалии вступают в конфликт с общечеловеческими ценностями и нормами, последние быстро уступают, особенно среди молодых и гибких. В этом отношении культура выступает как самостоятельная сила, вступающая в конфликт с новыми тенденциями. Именно так дело обстоит в период любой революции, осуществляющейся "снизу" или "сверху". Вот тогда-то и выясняется истинная сила культуры, вот тогда-то она проверяется по "гамбургскому счету". А что поражаться силе националистических традиций, скажем, в Иране, если государство эти традиции изо всех сил поддерживает. Подумаешь, традиции, опирающиеся на террор муллы! А вот когда Мао со своей безумной культурной революцией решил натравить детей на отцов, от великой китайской ценности — семьи — не осталось и следа в течение нескольких недель.

Вместе с тем, никто не воюет с культурой, ее отдельными элементами, если их можно приспособить к новому порядку, если эти элементы можно использовать в чьих-то интересах.

Так или иначе, разговор, беседа — это уж точно чисто культурный феномен. Как я уже заметил, эмигранты с легкостью необычайной отказываются от него, то есть от его "московского образца", заменяя его поверхностной, прагматической, лишенной абстракций и всякого эмоционального накала беседой.

Одна моя знакомая применила удачный термин к участникам таких бесед — "конкретики". Они все обсуждают на уровне конкретных, осязаемых и проверяемых вещей, не удастая своим вниманием платоновский мир идеальных объектов или даже несовершенные абстракции, куда относится литература, искусство, философия.

Но если эмигранты отказались от "разговора", как жизненно важного феномена, то для этого существуют "материа-

листические" основания. Нет места для всепоглощающего разговора, если тебе доступна вся информация и твой собеседник не может тебе сообщить нечто такое, чего иначе ты просто не мог узнать. Нет смысла бежать в другой конец города, чтобы обсудить с другим текущие события, которые тебе не предвещают никаких опасностей, и тебе не надо тратить часы, размышляя вместе с ним, держа стакан водки в руках, а что же может произойти, если вдруг...

Нет необходимости искать бесед и для обсуждения нового фильма или книги, ибо здесь приобщение к искусству и литературе не является нормой и никак не будет способствовать твоему престижу ни у коллег, ни у представителей другого пола. Разобщенное общество, у которого нет общего противника, не чувствует острой необходимости ни в дружбе, ни во всепоглощающем общении.

Конечно, я пытался схватить только "центральные тенденции". И в Америке есть изысканные собеседники, люди, которые ценят беседу не меньше, чем участники московских и новосибирских салонов в 60-е годы. Конечно, и здесь, вероятно, можно найти тех, которые проводят почти все свое свободное время в беседах на самые непрагматичные темы и презирают мещан и "мидл-класс". Но все дело в пропорциях.

Привет, Володя

## МИФОЛОГИЯ ЭМИГРАНТОВ

19-20 июня 1984 г.

Дорогие друзья!

Разрешите мне на этот раз пофилософствовать и попытаться понаблюдать не за тем, что творится здесь или в других державах, а за тем, что происходит в моем сознании. Для меня отчетливо ясно, что "мое сознание" и есть такой же объект изучения, как и всякий другой. И скажу даже больше — часто весьма интересный. Это я по-настоящему понял только покинув вас и прервав ту непрерывность впечатлений, ту преемственность культурной и социальной жизни, которая мешает большинству людей размышлять о своем прошлом. А вот, когда совершен скачок из одной реальности в другую, тогда возникает возможность (а иногда и страстное желание)

выяснить, а что же я знаю о том обществе, которое покинул, что я думал тогда о нем и о мире и т.п. И удивительно интересно для меня импровизировать в аудитории на тему о какой-то стороне жизни "там". Гораздо больше, чем моим слушателям. Наверное, писателям это чувство естественно, а для меня оно было в новинку. Вот, например, в одном лекционном курсе я вышел на тему, какова роль истории в советском обществе. И как меня понесло в описаниях того, насколько сознание моих бывших соотечественников переполнено историей и как в этом смысле американцы равнодушны к прошлому. Сколько деталей, к моему удивлению, всплыло из моего сознания! Это был процесс как бы совсем не управляемый моим "верховным я". Ну, кому из вас за последние двадцать лет приходилось в беседах затрагивать этот вопрос? Кто задумался или тем более обсуждал, до какой степени, например, девятнадцатый век сидит в вашем сознании? Как он не покидает вас с его героями, событиями, писателями, спорами ни на один миг, в то время как здесь только гражданская война вспоминается, и то крайне редко. И как, скажем, интересно выйти на роль алкоголя и, играя бесчисленными переменными, показать его роль в социальной, экономической, сексуальной и всех других жизнях моих бывших соотечественников! (Американцы с одномерным использованием алкоголя слушают обычно, как зачарованные, эту сказку о великой полифонии и пластичности соответствующих напитков, которые здесь в фантастическом разнообразии и, глядя на которые, я неизменно думаю: "Ах, кабы это все там, да и тогда, когда я там был").

Но еще интереснее изучать свое сознание не в статике (что я знаю о том или этом), но его динамику. Возьмем, допустим, мой образ человека. Конечно, такая категория, как образ человека вообще, вряд ли носит научный характер. Если бы мне надо было делать доклад как представителю землян на межпланетарной социологической конференции на эту тему, то я был бы в большом затруднении. Особенно, если бы на этой конференции господствовал позитивистский дух и от меня требовались данные для обоснования каждой "черты" среднего жителя Земли.

Однако тем не менее у каждого из нас имеется свое собственное представление о человеке вообще, которое весьма чувствительно к нашему изменяющемуся опыту, к нашим удачам и неудачам. Многие эмигранты заметно изменили свой взгляд на человечество — кто в лучшую, кто в худшую сторону. Для одних интернациональная Америка укрепила их мнение о том, что человек, если его поставить в нормальные условия, в общем незлое существо. Для других — их опыт толкнул к мнению, что "и здесь" люди вредные и что "человечество в целом не заслуживает положительной оценки".

Так или иначе, мое представление о человеке в целом, если и не имеет прямой научной ценности, то, во всяком случае, оно даст вам некоторую информацию, что происходит с моим отношением к этому миру.

Я не думаю, чтобы в моем сознании произошли какие-либо статистически значимые изменения в образе человека по параметру "добрый — злой", но почти наверняка я еще больше потерял уважение к интеллекту человека как к якобы орудю поиска истины. Замечательно, что это произошло именно здесь, в стране, в которой как бы отвергается влияние идеологии.

Именно здесь у меня оформилась концепция, что необходимо в сознании каждого индивида выделять два почти независимых друг от друга слоя — мифологический и прагматический. Первый слой почти полностью поглощен одним — поддержанием самоуважения на достаточно высоком уровне, вопреки самым очевидным фактам. Второй занят "делом" — принятием реалистических решений с максимальным учетом этих же фактов.

Поддержание самоуважения (и, конечно, одновременно, уважения важных для тебя людей) — дело сложное и хитрое. Иногда оно осуществляется через присоединение к большим общественным движениям, иногда — через ницшеанское возвеличивание своей собственной личности как особенной и не встречающей понимания и т.д.

Феномен мифологического сознания особенно ярко проявляется у эмигрантов. Одна из самых интересных социальных

особенностей эмиграции — это нарушение статусных характеристик по сравнению с "той жизнью". Произошло перераспределение престижа между эмигрантами, как бы маленькая революция: кто был там ничем, тот стал здесь всем, и наоборот. Конечно, это некоторое преувеличение. Но что совершенно бесспорно, — это то, что зависть является одним из самых сильных эмоций многих эмигрантов, и она не знает снисхождения даже для самых близких людей: "там я примирился с тем, что я ниже, здесь ни в коем случае" или "там я был выше, а здесь ниже, и это глубоко несправедливо". Если бы эмигранты реже общались друг с другом, они были бы более свободны от этого самого мерзкого и самого сильного человеческого чувства. Сравнивая себя с американцами и особенно принимая в расчет длинный путь, который проделали американцы, приехавшие в страну в начале века, они бы поняли, что им жаловаться особенно нечего. Более того, сами американцы часто испытывают зависть и даже злобу к этим чрезмерно быстро преуспевающим "русским", которые за 5-10 лет добились того, что они сами смогли сделать лишь за целую жизнь, прихватив также часть жизни своих родителей.

Нет лекарств против зависти. Боюсь, что и по другую сторону океана жизнь эмигрантов частенько вызывает те же недобрые чувства. Впрочем, эмигранты, в свою очередь, нет-нет, да и позавидуют стабильности тех, кто живет в прежних условиях. Словом, не металл и не любовь и хлеб, а зависть — правит миром. И тут на помощь приходит это мифологическое сознание, которое делает из тебя признанного или непризнанного гения, выдающегося поэта, писателя, философа и т.д. Конечно, гуманитарии более подвержены патологическим формам мифологического сознания. Однако каждый из нас — в любой точке земного шара — хранит в своем сознании мощные средства самовозвеличивания или самооправдания, и никто ни при каких обстоятельствах не способен притупить эффективность для их владельца.

Конечно, очень часто мифологическое сознание принимает групповые формы, и вместо того чтобы возвеличивать или оправдывать себя, возвеличивают свою группу, социаль-

ную или этническую, идею, которой служишь. В общем это форма существования в этом мире и антитезой этому может быть, вероятно, только вера в Бога или вообще самозабвенная любовь.

Удивительно, однако, другое: как мифологическое сознание не мешает практической деятельности. Я встречался с одним старым знакомым, который плел невероятную чушь о себе. Казалось, он совсем сошел с ума, — так нет, как только дело коснулось практической жизни и он покинул область вербальной деятельности, где так расцветивал свою неповторимую личность, он предстал предельно практичным, даже где-то мелковатым человеком. Впрочем, американский либерал, о котором я уже не раз писал, именно таков: на мифологическом уровне он кто угодно — марксист, радикал, на прагматическом уровне — обыкновенный буржуа "мидл-класс".

Мифологический слой нашего сознания очень прочен, и он имеет мало общего с "двойным мышлением". Он не меняется запросто по указанию начальства, хотя связь между властью и нашей мифологией довольно сильна. Чтобы себя уважать, мы должны почитать тех, кого мы считаем начальниками, включая наших жен и мужей. Поэтому, пока мы находимся в зоне соответствующей власти (ну, например, пока мы не развелись и продолжаем жить с теми, кого мы глубоко не любим), мы должны сохранять элементы мифологического сознания, приукрашивающие тех, с которыми мы не можем расстаться. (Концепция мифологического слоя, конечно, связана с фрейдовской идеей рационализации, однако обычно рационализацию толкуют как отдельные акты искажения "истины", Я же хочу внушить, что "половина человеческого мозга", а у некоторых и четыре пятых, занято восприятием мира, которое полностью не согласовано с действительностью.)

Конечно, мифологический слой играет прямую конформистскую функцию и контролирует вход в наше сознание информации, отбрасывая ту, которая не нужна для прагматики, но и вредна для мифологии.

Интересный факт. На мой взгляд, американцы большие конформисты, чем советские люди. У них, американцев, социальные компоненты мифологии более прочные, и они "более закрыты" для новых сведений, чем мои бывшие соотечественники. Последние живут все время с ощущением, что они чего-то не знают, что вот-вот "истопник им откроет глаза". Ничего подобного тут. Они всё знают, и поэтому их взгляды правильны и не могут быть изменены после какого-то доклада или закрытого семинара. Другое дело, что здесь больше видов мифологического сознания и что социальные институты не позволяют насильственную экспансию одного вида сознания за счет другого. Я уже отмечал, что свары в американских гуманитарных департаментах куда более непримиримы, чем в Союзе: противники сделали бы друг с другом все, что они могли бы, "да только кто им даст это делать".

Именно в Америке я окончательно понял, что никого и ни в чем нельзя переубедить, и роль новых фактов ничтожна.

Мифологичность нашего сознания требует еще от нас его преемственности, веры, что мы всегда были правы. Никто не хочет обесценить свои идеологические инвестиции. Это объясняет, почему люди с таким, казалось бы, неестественным упорством цепляются за верования своей молодости и даже личная катастрофа далеко не всех заставляет изменить содержание мифологического слоя.

Конечно, не следует и переоценивать стабильность данного мифологического слоя. Он-то меняется, однако не столько под влиянием "новых фактов", сколько из-за того, что при новых обстоятельствах надо придумывать другие средства поддержания самоуважения. Опять-таки эмигранты интересны как экспериментальный материал. Все они активно ищут (чаще даже не осознавая этого), как им приспособиться идейно к новой среде и новым обстоятельствам. Помимо тривиальных способов, некоторые из них прибегают к таким непростым, как переход в православие, несмотря на неподходящее происхождение, а некоторые даже к сильному приукрашиванию прошлого.

Мое восприятие человека сегодня перекликается со взглядами моего старого друга Майкла, который их представил

в виде двух законов. Один из них можно описать следующим образом. Человек удивительно противоречиво ведет себя в микро- и макромире. В первом он трезв, расчетлив и понимает, что надо ставить перед собой реалистические задачи. Меж тем, когда заходит речь о макромире, тот же трезвый индивид требует немедленных радикальных изменений в жизни. Этот конфликт между микро- и макроинтересами (они где-то соответствуют и двум слоям сознания — прагматическому и мифологическому) создает множество проблем в современном мире и часто эксплуатируется политиками в своих интересах.

Может быть, выдающийся политик, истинный стратег, способный подняться выше текущих мелочей, и был бы способен сделать большой рывок и в какой-то степени реализовать макроожидания обывателей, ждущих чуда сверху. Но здесь мы переходим ко второму закону Майкла; выдающийся политик имеет обычно мало шансов на достижение ключевой роли в его сфере. Он почти обречен быть жертвой заговора посредственностей, которые, по словам Майкла, как плохие игроки в турнире всегда в состоянии путем сговора лишиться лучшего из них первого места. И разве Запад не демонстрирует это бесконечное число раз, удивляя своих сограждан поразительной серостью своих лидеров. Только редко, очень редко, может появиться на горизонте большая личность типа Рузвельта или Де Голля. Но, конечно, союз неталантливых особенно силен в азиатских и африканских странах. В то же время тот, кто победил в шахматном турнире (в котором допускаются коалиции против самого способного), спустя некоторое время начинает искренне верить в справедливость своей победы и иногда даже переоценивает свою шахматную позицию и недооценивает силы противника.

Есть у Майкла и третий закон, который, правда, не столь "шахматен" и "теоретичен". Это так называемый закон второй рюмки, которая должна следовать за первой с минимально возможным интервалом. Дистанции между всеми последующими глотками и залпами могут быть как угодно длинными. Этот третий закон Майкла отражает глубокую жажду

единения искренне преданных друг другу людей, стремящихся продемонстрировать себе, что первый тост за "свиданку" не случаен, что он не был продиктован случайностью встречи и что надо как можно быстрее, буквально тотчас же закрепить эту поднявшуюся из самых глубин души теплоту друг к другу, ибо, что может быть краше и радостнее в этом мире!

Майкл, пожалуй, единственный мыслитель в истории, кто воспел цифру два и кто пренебрег всеми другими магическими числами. И он глубоко прав, ибо диада, ты и я, первое и второе свидание, первое и второе признание наиболее важны в этом мире. Один — это почти ноль, два — это значит, что нечто закреплено, уже принадлежит тебе, и роль того, что будет в третий раз или четвертый, не так уж и важна.

Итак, мои дорогие и далекие друзья, я выпью сегодня сам первую и вторую рюмку, и конечно, за вас всех.

Володя



*Дора ШТУРМАН*

## **ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ**

*Вокруг мемуаров Авторханова*

В кратком послесловии к "Мемуарам" А.Авторханова, помещенном на четвертой странице обложки, сказано:

"Мемуары — документ для историка. Но когда историк пишет мемуары — он вступает в конфликт с самим собой. Его все время одолевает соблазн — писать историю, а не мемуары. И этот конфликт ясно отражен в предлагаемой книге: то историк берет верх над мемуаристом, то мемуарист над историком. И это — увлекательно".

Анонимный автор послесловия прав. История СССР и РКП (б) — ВКП (б) — КПСС для Авторханова настолько личное дело, что и тогда, когда он писал пространные и по сей день уникальные исследования "Становление партократии" ("Ленин и ЦК" и "Сталин и ЦК") и "Технологию власти", он включил в них свои живые воспоминания и впечатления. Мемуарист и там сопутствовал историку, как теперь историк сопутствует мемуаристу. Но только ли историк? Авторханов — аналитик и политический мыслитель. Его "Мемуары", по по-

воду которых я хочу высказать несколько соображений, не представляют собой в этом смысле исключения среди других его книг. Но в них предстает перед читателем еще и Авторханов — независимый политический деятель, чего не было в предыдущих книгах. Свободная политическая деятельность Авторханова началась тогда, когда он в 1942 году решил выйти из-под контроля НКВД и, присоединившись к действовавшим в горных районах Чечено-Ингушетии повстанческим отрядам Исраилова и Шерипова, включиться в борьбу против коммунистической власти. Незадолго до этого он был освобожден из заключения, счастливо проскользнув сквозь "форточку", приоткрывшуюся на какое-то время для политических заключенных в связи с устранением Ежова. Неожиданно для Авторханова к Исраилу его решил направить Берия — с заданием либо добиться от вождя повстанцев полной и безоговорочной капитуляции, либо его уничтожить. Авторханов решил использовать это поручение в своих целях.

Несмотря на партийность, учебу, ответственную работу, арест по политическому обвинению и т.п., он не был до тех пор политическим деятелем в классическом смысле этого понятия. В тоталитарном государстве все лица, не принадлежащие к наивысшей ступени или точке иерархии, являются лишь манипулируемыми величинами, для которых в мало-мальски серьезных и принципиальных вопросах исключена возможность действовать по своему разумению и по своей воле. В СССР до окончательной победы Сталина иерархия власти представляла собой усеченный конус с узкой олигархией связанных партийной дисциплиной политических деятелей на верхушке. Ко времени, о котором идет речь, конус сделался полным — с победившим всех своих конкурентов Сталиным на вершине. Ниже политических деятелей не стало, а оказались одни исполнители верховной воли с более или менее широкими и однозначно предопределенными полномочиями.

Тридцатидвухлетний Авторханов вышел из этой безысходной зависимости, пренебрег орденом Ленина, обещанным ему Берия за предательство, и примкнул к Исраилу. Вскоре после этого он согласился вручить меморандум "Временного

народно-революционного правительства" восставшей против кремлевского диктата Чечено-Ингушетии немецкому правительству:

**"Наш общий доверенный человек передал мне Меморандум "Временного народно-революционного правительства Чечено-Ингушетии" на имя правительства Германии, в Берлин. Главное содержание Меморандума сводилось к следующему:**

**1) Чечено-Ингушетия восстала, чтобы избавиться от тирании Сталина и освободиться от ярма советского империализма для восстановления своей былой свободы и независимости;**

**2) мы ожидаем, что в ближайшее время к нам присоединится весь свободолюбивый Кавказ;**

**3) мы считаем, что враг Сталина — наш друг. Поэтому мы предлагаем Германии военно-политический союз против большевизма;**

**4) в ответ на это Германия, в свою очередь, признает независимость и территориальную целостность Кавказа.**

**В начале лета 1942 года Исраилов предложил мне пробраться к немцам и вручить им этот Меморандум.**

**Должен ли был я помочь Сталину и Берия совершить геноцид над моим народом из-за того, что их врагом был Гитлер? Повторись подобная же ситуация еще раз, я поступил бы совершенно так же. Конечно, с первой же встречи с гитлеровской администрацией я почувствовал, что нарвался на фальшивого союзника. Еще живет в Мюнхене адвокат из немецкого штаба, который на мое заявление и Меморандум Исраилова, что независимый Кавказ хочет быть союзником германской армии в борьбе против большевизма, хладнокровно ответил: "Германия не нуждается в каких-либо союзниках внутри советской России. Мы сами дойдем до самой Индии". Потом выяснилось, что это была официальная точка зрения Берлина. Но что же мне было делать — не идти же обратно, к Сталину, с жалобой на политическое тупоумие Гитлера".**

Трагедия кавказского сопротивления большевизму была сродни трагедии власовской Российской освободительной армии (РОА): Гитлер заведомо не мог быть союзником в борьбе за чью бы то ни было свободу. Объективно, на деле, речь шла о выборе между двумя тираниями. Любая попытка опереться на Гитлера, даже чисто тактически, убеждая себя, что его удастся использовать в своих — чистых — целях, а не в его — чудовищных, требовала для начала пренебрежения тем фактом, что речь идет о союзе с преступником, достаточно полно себя к тому времени проявившим. Гитлеризм поработил одни народы и тотально уничтожил другие, — правда,

всего-навсего евреев и цыган, что, к несчастью, далеко не всех от него отвращало. Поведение гитлеровцев на оккупированных территориях, режим, установившийся в Германии, расовая философия нацистов и ее практические приложения были в СССР широко известны. Обращение к Гитлеру с предложением совместной борьбы против Сталина в обмен на будущую свободу своего народа означало готовность волей-неволей переступить через судьбы других народов, с декларативной откровенностью подавлявшихся или уничтожавшихся нацистами. В отличие от лицемерного коммунизма, гитлеризм почти не прибегал к терминологической мимикрии (если не считать эвфемизма "окончательное решение еврейского вопроса" вместо откровенного тезиса "поголовное истребление евреев"). На фоне этой откровенности поразительна первоначальная наивность национальных организаций, намеревавшихся извлечь из союза с Гитлером пользу для своих народов в случае его победы над СССР, Авторханов пишет:

**"В Берлине я познакомился со многими представителями мусульманской, кавказской и русской эмиграции. Почти у всех были свои "национальные комитеты" и свои национальные формирования — так называемые "восточные легионы", созданные немцами из бывших военнопленных разных народов СССР. Эти "легионы" входили в состав вермахта как восточные добровольческие войска. "Национальные комитеты" никакого влияния на них не имели. "Национальные комитеты" упорно добивались, чтобы Германия официально заявила, что она признает право народов СССР на независимость и, соответственно, предоставит председателям "комитетов" дипломатический статус послов, аккредитованных при немецком правительстве. Гитлер об этом и слышать не хотел и, в отличие от Сталина, был честен: он не обещал того, чего не собирался делать. Поэтому он, хотя и терпел "национальные комитеты", но отдал их в ведение "Восточного министерства" Розенберга, прочно закрыв их представителям доступ к "национальным легионам". Ведущие представители кавказских, как, впрочем, и других эмигрантских политических организаций, отказались по этой причине сотрудничать с немецким правительством".**

Странно не то, что отказались, а то, что пытались сотрудничать. Для чего Гитлеру нужна была бы война против СССР, если бы он признавал "право народов СССР на независимость"? Неужели же только для одоления родственного то-

талитарного режима? Как можно было игнорировать нацистские идеалы Гитлера, никогда им не скрывавшиеся?

В Германии Авторханов сразу почувствовал, "что нарвался на фальшивого союзника". Но ему некуда было возвращаться, потому что на родине его ждала верная гибель, а гитлеровцы обратившихся к ним за помощью кавказцев геноциду не подвергали. В Германии оказалось для него возможным со временем найти некую экологическую нишу и самозабвенно заняться изучением массы недоступных ему ранее в СССР историко-литературных материалов. Вообще, обстановка в Германии и настроения множества как военных, так и гражданских лиц были несколько иными, чем представлялось и по сей день представляется многим из нас. Интересны в смысле их анализа "Мемуары" Авторханова и книга В.Штрик-Штрикфельдта "Против Сталина и Гитлера", посвященная истории РОА и генералу А.А.Власову. Обстоятельства, созданные нацистами, были смертоносны для евреев, и поэтому для евреев любой — чей бы то ни было — компромисс с гитлеризмом был страшен и означал готовность переступить через их уничтожение. Но и политики, и обыватели умеют отодвигать на периферию своего сознания то, что непосредственно угрожает не им и не их народам, а кому-то другому. И у меня нет сомнения в том, что если бы гитлеровцы тотально уничтожали не евреев, а какой-то другой народ, то некоторые евреи вступали бы с ними в компромиссные отношения из разных соображений так же, как представители всех прочих не истреблявшихся нацистами народов. Функционируют же солдари, вергелисы и драгунские на фоне выжигаемого напалмом Афганистана так же верноподданно, как и нееврейские их коллеги того же сорта! Правда, это соображение не уменьшает ужаса того, что случилось в 1933—1945 годах с евреями Европы. Только немногие из нас склонны мерить себя и других, близких и дальних, одной и той же мерой. Геноцида цыган вообще, кажется, почти никто не заметил: о нем почти никогда не пишут. Если же (что для меня решительно невозможно) пренебречь геноцидом против двух народов и бесчинствами на оккупированных территориях, то, судя и по Авторханову, и по В.Штрик-Штрикфельдту, обстановка в самой

Германии, как сказано выше, была менее тоталитарной, чем в СССР: многие немцы, и штатские, и военные, сочувствовали населению захваченных стран и открыто это сочувствие проявляли, помогая непосредственно столкнувшимся с ними людям выжить и даже действовать в своих личных и национальных интересах. Штрик-Штрикфельдт рассказывает о легальной и ненаказуемой полемике с правительством, которую вели некоторые крупные армейские чины, об ограниченных, но все же реальных возможностях лавирования и проведения ими своей локальной линии, об откровенном осуждении частью высокопоставленных военных политики геноцида и угнетения народов оккупированных территорий. По его данным, фельдмаршал фон Бок откровенно выразил Ставке свой протест по поводу убийства евреев в Бобруйске (позднее он был смещен, но не репрессирован).

В интервью, взятом у него Кронидом Любарским для журнала "Страна и мир" (№ 7, 1984), всемирно известный "неутомимый охотник за нацистами, совершившими тягчайшие преступления против человечности" (К.Любарский) Симон Визенталь сообщает: "Кстати, немецкий военный устав при нацистах не был изменен. Там в параграфе 47 говорится, между прочим, что если приказ носит преступный характер, он не должен быть выполнен. И были немецкие офицеры, даже среди чинов полиции, которые, получив такой приказ, заявляли: на основании параграфа 47 я отказываюсь повиноваться, и ничего с ними не случилось! Им говорили: вы дураки, фюрер любит сильных людей, после войны мы с вами посчитаемся и т.п. Но делать с ними ничего не делали".

Иное дело, что таких людей находилось мало, но находились, а самое главное — защищены были законом. Для СССР такая ситуация невозможна.

Для нацистской юридической практики внутри Германии были не характерны, в отличие от практики советской, бессудные расправы и огульные осуждения собственных граждан, исходя из "признаний", добытых пытками. Даже по отношению к перебежчикам применялась, по-видимому, в ряде случаев упорядоченная следственная процедура, Авторханов пишет:

**"Немцы решили, что я советский шпион с фальшивыми документами. Меня изолировали и начались интенсивные допросы. Меня спасла моя группа, с которой я перешел линию фронта. Они убедили немцев в своих свидетельских показаниях, что их предположение ложное."**

В СССР достаточно было бы одного "подозрения в шпионаже" (была такая "литерная" статья) для ликвидации или осуждения на большой срок.

**"Враг Сталина был нашим союзником, и у нас другого выбора не было: злополучная демократия и ее апостолы Рузвельт и Черчилль находились в объятиях Сталина, а мой народ — в его кровавых когтях",** — пишет Авторханов. И несколько ниже:

**"Берлин был полезен мне в двух отношениях: во-первых, я мог исследовать и писать все, что я знаю и думаю о коммунистической идеологии и коммунистической системе властвования (то, что в Германии тоже существовала тоталитарная власть, только низшей формы, — была не моя проблема, а немецкая); во-вторых, мне была доступна вся богатая как немецкая, так и эмигрантская — литература довоенных лет (философская, историческая, социологическая), которая помогла мне преодолеть "узкие места" моего советского исторического образования".**

Вся дальнейшая жизнь Авторханова доказывает, что он сумел выполнить свое предназначение и отвоеванные у жизни возможности эффективно использовать для исследования советского варианта тоталитаризма и борьбы против него. Но есть в приведенных выше отрывках умозаключения, толкающие к далеко идущим ассоциациям.

Если, по утверждению кавказских антикоммунистов, "враг Сталина был нашим союзником и у нас другого выбора не было", то и "апостолы" "злополучной демократии" Рузвельт и Черчилль могли рассуждать точно таким же образом. Их практическим врагом номер один был с 1939 года Гитлер, и Сталин, против своей воли вовлеченный безумием Гитлера в войну с Германией, стал естественным участником антигитлеровской коалиции. Стимулом к этому был тот же тезис: враг моего врага — мой союзник,

Авторханов пишет, оглядываясь назад:

**"Войну, стратегически близкую к выигрышу уже в октябре 1941 года, Гитлер политически проиграл сразу после того, когда выяснилось, что война ведется не на уничтожение большевизма и за освобождение народов СССР из-под его ига, а за их превращение в колониаль-**

**ных рабов "третьей империи". Советский человек сказал себе: "Сталин, несомненно, сволочь, но, оказывается, и Гитлер тоже сволочь, только другого цвета, — в таком случае отечественная сволочь предпочтительнее чужеземной" (редкий случай, когда русский человек отдает предпочтение отечественному "товару" (твари) перед иностранным). Но даже и в этом случае у Германии были шансы уничтожить Сталина, если бы Сталин не пользовался безусловной поддержкой Америки и Англии, что вынуждало ее воевать на два фронта. Близорукая демократия упустила уникальный в истории шанс попасть прямо с панихидами по Гитлеру на похороны Сталина".**

"Что Гитлер тоже сволочь, только другого цвета", ясно было задолго до 1941 года. Победа Гитлера несла русскому народу утяжеление наличного социального гнета гнетом национальным. Естественно было оставаться при отечественном, привычном уже социальном гнете, далеко не всеми россиянами тогда осознаваемом или заслоняемом надеждой, что режим смягчится после войны. Естественно было ощущать войну против нацизма как правое дело (с учетом еще и того, что Гитлер напал на СССР первый),

Даже и те народы СССР, которые испытывали наряду с гнетом социальным гнет национальный, объективно ничего не могли выиграть от союза с Гитлером. Да и его национальный гнет был куда более динамичным, агрессивным и экстремистским, чем в большинстве случаев (есть исключения, среди них — чеченцы) коммунистическая русификация, всегда имевшая прежде всего политическую подоплеку. Но тезис: "враг моего врага — мой друг" — чрезвычайно соблазнителен и по сей день. Исходя из него, Запад заигрывает сегодня с коммунистическим Китаем, помогая врагу, потенциально, может быть, более страшному, чем СССР. Разборчивость при выборе сиюминутных союзников остается в политике и по сей день утопией.

Если бы Гитлер одолел СССР, что выиграли бы демократии? Как попали бы они "с панихидами по Гитлеру на похороны Сталина"? Ведь демократии остались бы в этом случае один на один с победившим Гитлером, овладевшим огромными ресурсами СССР и отчасти развязавшим себе на Востоке руки, Разве только усталость германской армии и необходимость держать большие воинские контингенты в оккупированном

СССР работали бы на союзников. Но им предстояла бы в этом случае продолжительная большая война с проблематичным выигрышем и колоссальными человеческими потерями, которые в реальной истории понес за них СССР.

Выход, способный предупредить нынешние и завтрашние последствия тех лет, состоял в своевременном союзе демократий с антигитлеровскими элементами в Германии и в решительной неуступчивости на конференциях в Тегеране и Ялте. Но тогда демократиям представлялся наиболее прямым путем к победе союз со Сталиным, и они полностью разоружились перед своим союзником, тем охотнее, что делали это, в существенной степени, за чужой счет. Клубок сплелся головоломенный, и общечеловеческая склонность видеть перед собой лишь ближайший свой интерес, иногда понятый ложно, сыграла свою роковую роль с поныне еще развивающимися последствиями для всех участников тогдашних событий.

Лидеры демократий не думали о том (хотя прозорливый Черчилль это понимал и позднее об этом говорил), что помогают жесточайшей тирании, исповедующей, как правило, не расистский геноцид, а политико-идеологический "классоцид" (иногда против целых народов) и тоже добывающейся мирового господства. Но ведь говорит же Авторханов: "...то, что в Германии тоже существовала тоталитарная власть, только низшей формы, — была не моя проблема, а немецкая". В 1938 году правительства демократических стран пренебрегли тем, что им казалось только проблемами Чехословакии, а в конце и после второй мировой войны — тем, что представлялось им проблемами лишь беженцев из СССР и народов стран Восточной Европы, а не их проблемами. В этих случаях заблуждение самоочевидно. Но и в попытках сотрудничества между подсоветскими (до оккупации или плена) врагами Сталина и гитлеровской Германией тоталитарность нацистского режима и его расистский характер были проблемой отнюдь не только немецкой. Ведь именно из-за этих его черт сотрудничество между бывшими подсоветскими антикоммунистами и гитлеровцами не состоялось и не могло состояться. И сегодня у массы людей на Западе, в том числе и у многих

политических деятелей, нет ясного ощущения того, что тоталитаризм не бывает только внутренней проблемой своих народов. И не только тоталитаризм великих держав есть проблема мирового порядка, но зачастую и малых. Посмотрите, что вносят сегодня в мир двухмиллионная Ливия, маленькая Болгария и островная Куба. Соединенным Штатам Америки еще предстоит узнать, как повлияют на их жизнь латиноамериканские отнюдь не великие державы с победившими в них просоветскими тоталитарными режимами. А ведь сегодня идущая в этих странах борьба представляется множеству североамериканцев сугубо внутренней проблемой ведущих эту борьбу народов.

В связи со всем пережитым Авторханов задается серьезной, не только историко-политической, но и этической дилеммой:

**"Здесь возникает принципиальный, исторической и политической важности вопрос: правомерна ли борьба против тоталитарного, деспотического режима в собственной стране, если страна находится в войне с другим государством? Послевоенная Германия ответила на этот вопрос положительно — отсюда ежегодные траурные собрания, посвященные жертвам заговора 1944 г. против Гитлера, отсюда же и выдвижение в руководство новой Германии тех, "кто поднял оружие против своей родины" (самые известные примеры: майор норвежской армии Вилли Брандт из социалистов, немецкий комментатор Би-би-си барон Гуттенберг из христианских демократов, эмигрантский публицист Герберт Венер из коммунистов).**

**В двух войнах с той же Германией двое русских ответили на поставленный вопрос тоже положительно: Ленин и Власов. Оба организовали на немецкие деньги, — деньги, взятые Лениным через "черный ход" (об этом неопровержимо свидетельствуют документы из архива Министерства иностранных дел Германии, опубликованные в Лондоне в 1958 г.), и Власовым совершенно официально — по кредитному соглашению между Германией и КОНР (Комитет Освобождения Народов России)".**

Мне представляется, что здесь поставлены в один ряд явления исторически разнородные.

Борьба против гитлеризма в рядах армий западных демократий и в связанном с ними или независимом отечественном подполье, включая антигитлеровские заговоры, была для немцев патриотичной и нравственной, потому что речь шла дейст-

вительно о восстановлении свободы и справедливости в их родной стране, о борьбе против несомненного губителя нации в составе сил, которые на господство над немецким народом отнюдь не претендовали.

Ленин субъективно был фанатически убежден в том, что тратит немецкие деньги на свержение дурного режима и в конечном счете на построение самого счастливого в истории человечества общества. Но в действительности он использовал эти деньги против самого демократического российского правительства, при котором свобода общества перешла в анархию, столь желательную и выгодную в тот момент именно для Ленина, — использовал, имея весьма туманные конструктивно-созидательные представления о завтрашнем дне той безвыходной однопартийной диктатуры, которую прежде всего намеревался построить и построил. Объективно немецкие деньги были тогда использованы Лениным на исключение благополучного будущего для народов СССР, в том числе и для русского, и на создание по сей день растущей угрозы для всего человечества. Но Ленина бессмысленно обвинять в аморализме этой акции, потому что он априори объявил нравственным все, что работает на его политические цели. Категории нравственности были ему в политике абсолютно чужды. Вспомните его неоднократные публичные рассуждения о допустимости компромисса с любым разбойником в своих тактических или стратегических целях.

Власов с его долго таившимся неприятием сталинского режима, будучи, по свидетельствам многих знавших его людей, человеком порядочным и значительным, попытался опереться в борьбе против Сталина на силу аморальную и беспощадную, которая, как уже было сказано, могла принести его народу только двойной гнет: национальный и социальный. Судя по книге непосредственно наблюдавшего эти события Штрик-Штрикфельдта, Власов чаще всего и сам мучительно чувствовал безнадежность попытки в союзе с нацистами завоевать свободу для своего народа. Отстаивая перед немецким командованием эту свою задачу, он неоднократно оказывался на грани ареста, который чудом предотвращался его не-

мецкими единомышленниками. Теряя надежду и терпение, он не раз хотел сложить с себя столь тягостные и двусмысленные полномочия и вернуться в лагерь для военнопленных. Часто не делают различия между РОА (власовцами) и добровольцами из числа народов СССР, сражавшимися в частях немецкой армии. Власовцы не сражались в ее составе. По замыслу своего командования, они должны были действовать как единая освободительная военная сила, несущая народам СССР демократический правопорядок, что было заведомо невозможно. Гитлеровцы и не допускали их к военным действиям. Первый и последний раз РОА в них участвовала, когда помогла восставшим пражанам изгнать из города немецкие войска перед вступлением советской армии в мае 1945 года, Власов и его ближайшие помощники в какой-то мере питали фантастическую надежду, что союзники используют их формирования, когда, одолев Гитлера, повернут оружие против Сталина. Этого, естественно, не случилось. Генерал Власов и другие руководители движения были выданы западными союзниками СМЕРШу и потом повешены, отказавшись признать, что хотели сражаться против своей родины, а не только против Сталина и сталинизма. Этот отказ покаяться сделал невозможным запланированный Кремлем открытый показательный процесс над ними (см. воспоминания генерала П.Г. Григоренко "В подполье можно встретить только крыс"). Рядовые участники власовского движения тоже массово выдавались на расправу советам. Кстати, в свои программные документы Власов отказался внести антисемитские пункты.

История Власова свидетельствует о том, что бессмысленно протягивать руку такому врагу своего врага, который тоже является заведомым врагом свободы, права и милосердия: это не приведет к желаемой цели.

История XX века демонстрирует тем не менее не один пример того, как, стремясь освободиться от тирании, люди обращаются к ее врагу, ненамного лучшему или не лучшему, чем тот, против которого они хотят бороться, от которого бегут. Спасаясь от истребительной тирании "красных кхмеров" Пол Пота, камбоджийцы приняли помощь тоталитарного Вьет-

нама и сейчас тяжело страдают от вьетнамских оккупантов. Афганцы массово спасаются от советского нашествия в хомейнистский Иран. Демократы не оказывают действенной помощи народам, терпящим тоталитарное бедствие, и у последних не остается иного выхода, кроме безнадежных попыток прибегнуть к поддержке такого "врага своего врага", который не лучше их угнетателей и губителей.

Не мешает к тому же помнить, что обреченные на близкое и полное крушение иллюзии власовцев, которым они сами в трезвые минуты не верили (см. ту же книгу В.Штрик-Штрикфельдта), имели трагические последствия только для них самих, заплативших за эти иллюзии одни — жизнью, другие — свободой. А за неодолимое желание демократических союзников видеть в "старине Джо" простодушного рубаху-парня и в советском режиме — особый род демократии заплатили жизнью и свободой миллионы выданных ими Сталину военнослужащих РОА, "перемещенных лиц" и эмигрантов, платит сейчас вся Восточная Европа и неизвестно чем еще заплатит Западная. О более широких и далеких последствиях Тегерана и Ялты и вытекшей из них политики Запада для всего мира, включая народы СССР, мы здесь говорить не будем. Поставим пока точку на том, что враг моего врага далеко не всегда является моим другом и даже союзником. Поэтому президенту Рейгану и первой леди вряд ли следовало с умилением обнимать китайских пионеров во время своего визита в Красный Китай. Тем более, что у них не было для этого никакой безвыходной необходимости.

С 1948 года Авторханов преподавал в американской школе по русским делам, сначала в Гармише, затем в Регенсбурге (ФРГ). Так началась его тридцатилетняя работа в европейском учебном заведении для американских военных, которое позднее было переименовано в "Русский институт Американской армии". Фундаментальную важность активной деятельности в этом учреждении такого знатока советской истории и системы, как Авторханов, трудно переоценить. Он вспоминает:

**"В "Русском институте" я был профессором по политическим наукам и с самого начала и до ухода в отставку преподавал следующие**

**предметы: 1) политическую историю России—СССР в XIX—XX столетиях; 2) историю и организацию КПСС; 3) идеологию и доктрину советского коммунизма. Одновременно я заведовал кафедрой политических наук и был председателем Академического Совета Института. Не прерывая преподавательской работы, написал и защитил докторскую диссертацию и получил звание доктора политических наук. Однако я не забывал, что ушел на Запад не ради куска хлеба, а чтобы бороться с системой, превратившейся у меня на глазах из квазисоциалистического государства в тоталитарную тиранию, по сравнению с которой немецкий нацизм и итальянский фашизм были политическими конструкциями сущих дилетантов. Эту борьбу я мыслил себе не в качестве политического деятеля, а в роли историка Советского Союза и аналитика его политической системы. Это было и мое настоящее призвание”.**

Успешно работал Авторханов и в Мюнхенском эмигрантском Институте по изучению СССР, учрежденном в 1950-м году, историю которого здесь изложить невозможно по недостатку места. Это была история неравной борьбы эмигрантских ученых, преимущественно второй эмиграции, за место в мировой советологии — по сей день актуальной борьбы против мифов, подчинивших и продолжающих подчинять себе сознание множества (к счастью, не всех) западных специалистов по СССР.

В те же годы Авторханов снова выступил и как политик и на этом поприще проявил дальновидность и правоту. Прежде чем рассмотреть его политическую концепцию, о которой пойдет речь впереди, я позволю себе подвергнуть сомнению один ее тезис: "Свобода никогда не приходит извне, свободу завоевывают изнутри". От Гитлера свобода действительно не могла прийти. Это Авторханов понял, едва попал в Германию. Но в ходе второй мировой войны свобода пришла в Италию, Францию, Западную Германию и ряд других стран на штыках союзников; и они же предоставили произволу Сталина Восточную Германию и страны Восточной Европы. Так что закономерность, формулируемая здесь Авторхановым, по крайней мере, не является всеобъемлющей. Свободу может помочь обрести и чужая армия (вспомним недавний эпизод с островом Гренада). Важно, что это за армия, кто ею манипулирует, с какими целями.

Рассмотрим большой отрывок из мемуаров Авторханова, оговорив предварительно, что нынешнее отсутствие в Кремле Сталина не устраняет истинности изложенной в этом отрывке концепции. Оно лишь доказывает, что дело не в очередном господствующем в Кремле лидере (или кучке таковых), а в гораздо более глубоких системных закономерностях.

Авторханов излагает свои тогдашние (начало 1950-х гг.) и, по-видимому, по сей день актуальные для него воззрения на стратегию борьбы против коммунизма и за свободное будущее народов нынешнего СССР следующим образом:

**"Надо создать "единый и неделимый фронт" народов СССР против большевизма. Эту свою концепцию я изложил конспективно в первом номере журнала "Свободный Кавказ". Сколько ядовитых стрел летело в мою сторону из-за этой концепции от некоторых ура-патриотов Кавказа, объявивших меня чуть ли не изменником Кавказа. Сколько нареканий я слышал и от русских "квасных патриотов", обвинявших меня в злостных намерениях "расчленив Россию", которая сейчас даже не существовала. Однако тезисы, опубликованные мною тогда, кажутся мне верными и до сих пор. Позволю себе их процитировать:**

**"Существуют непреложные истины, которые мы должны усвоить твердо.**

**Истина первая: пока Сталин сидит в Москве, не бывать нам на Кавказе.**

**Истина вторая: путь в Тбилиси, Владикавказ, Ташкент, Киев — лежит через Москву.**

**Истина третья: чтобы объявить национальную независимость, нужно завоевать условия для ее объявления, то есть политическую свободу.**

**Истина четвертая: чтобы завоевать эту политическую свободу, нужно разгромить и уничтожить существующую в СССР политическую и социальную систему. Короче, нужно похоронить большевизм идейно, политически и физически.**

**В сфере своего влияния большевизм не знает локальных свобод. Сегодня история подсказывает, что свобода русского народа есть предварительное условие свободы других народов СССР. Будет русский народ свободен — свободны будем и мы; будет он под ярмом Сталина и впредь, — тогда уж тянуть нам это ярмо вместе. Сталинская тюрьма народов — единая и неделимая. Чтобы освободить узников из одной ее камеры, надо взорвать крепостную стену со всей ее стражей. Вот почему большевизм враг номер один для всех. На этом, собственно, кончается наша революционная, разрушительная историческая миссия. На второй же день после гибели большевизма мы приступаем к нашей творческой национальной миссии — к созданию Свободного Кавказа.**

Одни, видимо, выйдут из состава будущей России, другие с нею будут федерироваться, третьи получат национально-культурную автономию. Но эти вопросы о национальной независимости, формах государственного строя или о взаимоотношениях с бывшей метрополией будут решать сами нерусские народы. Воля этих народов должна быть священна и для русских... Должны ли угнетенные большевизмом народы получить право на независимость — этот вопрос вне дискуссии. Судьи Сталина и зодчие нового общежития находятся там, — в горах Кавказа, шахтах Украины, кишлаках Туркестана, селах Тамбова и тюрьмах "необъятной родины". Кто имеет смелость признать эти истины — является самым мужественным человеком в нашу "сталинскую" эпоху. Таковы наши общие задачи в отношении консолидации общего единого фронта народов СССР" ("Свободный Кавказ", № 1, октябрь 1951, Мюнхен).

Опыт, который я получил на четырех конференциях в Висбадене, Мюнхене, Тегернзее, Штарнбергзее в попытках создать единый фронт эмигрантских политических организаций против советской тирании, очень разочаровал меня в эмигрантской политике. Опыт этот, лишенный значения исторического события, все же интересен в плане политико-психологическом — как интеллигентные и убежденные враги большевизма могут оказаться в позиции его невольных пособников, если их захлестывает стихия великодержавного и националистического угара".

У читателей есть возможность подробней ознакомиться с опытом, о котором идет речь, по "Мемуарам" Авторханова. Хочу обратиться лишь к некоторым тезисам его очень верного, на мой взгляд, рассуждения. Да, опыт эмигрантской конференции лишен "значения исторического события", как и многие выдающиеся публикации на родных языках, принадлежащие эмигрантам и почти не проникающие на их родину, для которой обычно пишутся.

Это справедливо в том смысле, что эмигранты, уехавшие из стран с деспотическими режимами, лишь в исключительных случаях (таковые — были) могут непосредственно и весомо творить отечественную историю и политику, о которых они столько размышляют и рассуждают. И этот почти не знающий исключений факт слабого влияния эмигрантов на жизнь несвободной метрополии саркастически снижает ценность их рассуждений, в том числе и печатных. Но опыт, описанный Авторхановым, интересен и показателен не только как симптом психологии эмигрантов. Все дело в том, что в нем проявилась

психология далеко не одних только эмигрантов и отнюдь не только тридцатилетней давности. На основной (из четырех посещенных Авторхановым) Висбаденской, конференции (1951) присутствовали деятели многочисленных и весьма различных группировок и направлений первой и второй эмиграции. Обе эти эмиграции были потоками массовыми, представляющими весьма широкие срезы: первая — российского, вторая (тогда совсем еще недавняя) — подсоветского общества. Их взгляды были поэтому достаточно характерны и для исходных для них слоев метрополии, а не только для групп диаспоры. Весьма показательно, что вывезенные из СССР "третьей волной" (я объединяю здесь под этим именем эмигрантов, изгнанников, беглецов и невозвращенцев, прикованных в их живых сегодняшних интересах к оставшемуся за спиной) свидетельства о настроениях в различных средах инакомыслящих и инакодействующих, в национальных движениях и в местах заключения близки к нарисованной автором мемуаров картине началах 50-х годов. И сегодня разные круги эмиграции и внутренних оппозиций порой "захлестывает стихия великодержавности и национального угара", в зародыше губящая всякое взаимопонимание.

Не устарело несколько афористически точное утверждение Авторханова, что "в сфере своего влияния большевизм не знает локальных свобод". Исходя из этого универсального для тоталитаризма тезиса, Авторханов доказывает, что "свобода русского народа есть предварительное условие свободы других народов СССР". И не только народов СССР, добавим мы, но и его подопечных в Европе и во всем мире. Пока несвободны народы СССР, их руками будет душиться свобода в мире. Пока несвободен русский народ, его руками будет душиться свобода народов СССР. Несвободные народы будут всегда использоваться большевизмом в его и только его целях. Казалось бы, их освобождение есть первоочередной важности общее всемирное дело. По-видимому, не объединив своих усилий, свободный мир и несвободные народы этого дела не выполнят. Стратегия этого процесса должна быть общей стратегией свободного мира, подневольных народов и их

эмиграции. Самоочевидно, как эти три силы далеки от подобной общности. Поэтому, вероятно, Авторханов и называет опыт эмигрантских конференций, пытавшихся добиться какого-то единства действий, чисто психологическим. Даже на бумаге не решенным остается вопрос о том, какими средствами и приемами можно сделать этот психологический опыт историко-политическим феноменом. Есть и еще один коварный вопрос: в какой их части сами поработанные народы уже обрели или еще не утратили чувство, что им необходимо добиться свободы? На какой риск они готовы (и готовы ли) ради нее пойти? Ведь и это неведомо.

В приведенном выше рассуждении Авторханова есть еще один важный тезис, вроде бы этико-психологический, но одновременно и стратегический, потому что психология и этика человеческих множеств предопределяют их свободно избранную (в отличие от навязанной силой) стратегию, Категорически склонный к непредрешенчеству (столь яростно отвергаемому по различным соображениям разными группами эмиграции из СССР), автор "Мемуаров" делает предположение, что одни народы в будущем выйдут из состава свободной российской державы, другие войдут с ней в равноправную федерацию, третьи ограничатся национально-культурной автономией в ее пределах и так далее. Но тут же замечает, что эти вопросы "будут решать сами нерусские народы, Воля этих народов должна быть священна и для русских..."

Если перенести нормальные этические требования к отношениям между отдельными людьми на отношения между народами, их можно сформулировать очень просто: насильно мил не будешь. Вряд ли уважающий себя и других человек станет насильно удерживать около себя совершеннолетнего ближнего, который из члена его семьи намерен превратиться в хорошего знакомого, а то и вовсе, как это ни обидно, разорвать отношения. Точно так же не станет порядочный человек навязывать свое пребывание в доме тем, кто не хочет его терпеть. Печальным спутником такой ситуации является необходимость делить жилплощадь, если уходящему иначе некуда уходить. Возвращаясь от членов семьи к народам,

вспомним, что есть ситуации, когда разнородные этнические элементы перемешаны на одной территории так, что государственное самоопределение меньшинств невозможно. В РСФСР немало таких регионов. Здесь могут прийти на помощь свободная добровольная ассимиляция (вещь для человечества совсем невредная), взаиморастворение (тоже — в добровольном и свободном варианте его не вижу никакого вреда и насилия), неподдельная национально-культурная автономия для народов и лиц, стремящихся сохранить этническую самобытность, и та высокая нравственная цивилизованность, которая позволяет некоторым людям удовлетворительно уживаться с соседями даже в коммунальной квартире. У народов Земли много таких "коммунальных квартир".

Если (надо надеяться, хотя оснований для этого и немного) настанет время для такого самоопределения, этнические русские примут равноправное с другими народами участие в мирном выборе для каждого конкретного случая какого-то из вариантов демократических правовых взаимоотношений со своими соседями. Два условия были бы при этом желательны: не удерживать тех, кто хочет отделиться или уйти, и не изгонять тех, кто хочет стать русским или остаться самим собой на земле, где похоронены поколения и его предков.

Говоря так, я, еврейка-израильтянка, предчувствую возможный вопрос, уводящий далеко в сторону от обсуждаемой нами книги. Но таково свойство этой книги — побуждать к далеко идущим размышлениям. Почему меня продолжают волновать дела страны, покинутой мною, надеюсь, ясно: почти вся жизнь прошла там; там остались разноплеменные близкие; русскими остались мой язык и моя культура; от того, как сложится судьба народов СССР, зависит будущее и моей страны. Но вот, как я, рассуждающая о праве на действительное самоопределение всех народов СССР, отношусь к тому, что большинство населения моей страны не желает возникновения палестинского государства на территориях, занятых Израилем в 1967 году, — это вполне закономерный и уместный вопрос. Я разделяю это нежелание. Когда к нам с

миром пришел Садат, мы отдали ему обратно Синай с освоенными израильскими нефтяными месторождениями. Но силы, претендующие на создание палестинского государства в Иудее, Самарии, полосе Газы и Восточном Иерусалиме, декларируют в своей программе ("Палестинской хартии") элиминацию (дословно — уничтожение) еврейского государства, исключение еврейского государственного присутствия на Ближнем Востоке. Израиль предлагает арабскому населению этих районов административную и национально-культурную автономию. Намеренным эмигрировать в необъятный арабский мир предлагается материальное возмещение. Обсуждается вопрос о предоставлении желающим израильского гражданства. Но мы не можем допустить создания второго (одно есть — Иордания) палестинского государства потому, что за ним стоят, с одной стороны, СССР, с другой — агрессивный панисламизм. Речь идет о нашей жизни и смерти. Во взаимоотношениях между русскими и другими входящими в СССР народами речь ни в одном случае не идет о жизни и смерти русских как нации, России как государства и даже как великой державы. Мне представляется, что нынешнему СССР в случае его действительно демократической трансформации вообще вряд ли грозит расчленение (это отнюдь не предрешение, но только предположение). Надо думать, что при реальной, а не фиктивной, как сегодня, возможности свободно отделиться или уйти многие из насильно удерживаемых в нынешнем СССР народов пойдут на тесную равноправную федерацию с Россией — в тех случаях, когда и она этого захочет: ведь и ей не заказан изоляционизм. Многие живущие на землях нынешней РСФСР согласятся на административную и национально-культурную автономию. Не будет недостатка и в добровольных ассимилянтах (и не только евреев, часть которых, вероятно, эмигрирует). Слишком многообразны и прочны за долгое время возникшие связи.

Мне могут возразить: а если русский народ не захочет в одних случаях — отделения, в других — национально-культурной автономии инородцев, в третьих — полной их ассимиляции в русской национальной стихии?

Это означало бы лишь одно: что ничего не изменилось и национальное мироощущение новой России осталось родственным нынешней кремлевской национальной политике. Я верю, что так не будет. Авторханов тоже, по-видимому, верит, что так не будет. Иначе он не предлагал бы и национальным меньшинствам, и русским программу, которая сводится к знаменательному "за вашу и нашу свободу". Вот только — как?..

---

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"**  
в ближайшее время выйдут книги:

**Владислав ХОДАСЕВИЧ. КОЛЕБЛЕМЫ ТРЕНОЖНИК**  
Статьи о литературе. Избранная проза, том 2.  
(260 стр. Цена — 17.50)

Во второй том избранной прозы В.Ходасевича вошли статьи о писателях и поэтах — современниках автора: Н.Гумилеве, В.Сирине (Набокове), Б.Поплавском, И.Бунине, Д.Мережковском, А.Блоке, А.Белом, В.Маяковском и др. В книге также помещен обширный комментарий к статьям и указатель имен на оба тома.

Первый том Избранной прозы В.Ходасевича "БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ", который является продолжением известной книги Ходасевича "Некрополь", можно приобрести в издательстве "Серебряный век" или по адресу редакции "Время и мы". В книге 310 стр. Цена — 17.50.

**Георгий АДАМОВИЧ. СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ**  
Статьи о литературе. Избранная проза, том 1.  
(260 стр., цена — 17.50)

Как и В.Ходасевич, Г.Адамович был одним из крупнейших литературных критиков первой эмиграции. Круг писателей, творчество которых интересует Адамовича, примерно тот же, что и у Ходасевича. Но их точки зрения далеко не всегда совпадают. Оба писателя — и Ходасевич, и Адамович были своего рода центрами культуры, вокруг которых сосредоточивались литературные силы эмиграции

Второй том Избранной прозы Г.Адамовича  
**РАЗМЫШЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ**  
готовится к печати.

Адрес издательства: SILVER AGE PUBLISHING  
P. O. Box 384 Peogo Park New York 11374

**Григорий СВИРСКИЙ**

**ПРОРЫВ**

**Роман о судьбе эмиграции из СССР**

*Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".*

*Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".*

*В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.*

*Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.*

*"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.*

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

**Hermitage Publishers of New Russian Books**  
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

Алекс Де Йонг, доцент Нью-колледжа Оксфордского университета, происходит из семьи, эмигрировавшей из России после Октябрьской революции. В отличие от многих сыновей и внуков "белой" эмиграции, он не утерял связей с современной русской культурой и стал одним из тех представителей академического мира, кто взял на себя трудную роль "мирового посредника", по выражению Тютчева, между культурами Востока и Запада.

## ГРИГОРИЙ РАСПУТИН ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ

*Интервью Зиновия Зиника с Алексом Де Йонгом*

З и н и к. Ряд ваших книг непосредственно связан с русской историей и литературой: книга о Петре Великом, книга о Достоевском. Сейчас — Распутин. Вы произошли из семьи, чья эмиграция из России в каком-то смысле связана с пророчеством Распутина о падении царского престола и революцией. Насколько русские связи вашей семьи повлияли на ваше воспитание и литературную деятельность? Ведь вы родились в Англии, не так ли?

Де Йонг. Для меня это была Англия некоего специфического рода. Я воспитывался тремя женщинами: моей матерью, бабушкой и прабабушкой, все трое были русскими, однако к концу жизни говорили на трех языках сразу и ни на одном как следует. Но русский был языком, на котором я начал говорить, пока не пошел в школу. С отцом я изъяснялся по-английски. Он же в свою очередь говорил с мамой по-немецки. Он родился в семье голландских евреев, но его мать — из английских ирландцев. Так что моя семья представляла

собой вполне обширную коллекцию национальностей. Моя мать, в свою очередь, происходит из семьи шотландского офицера, который бежал из Англии как католик и решил поселиться в России — во времена императора Павла. Ему было даровано имение на том условии, что он станет подданным российской империи. И он согласился. Так что во мне течет и шотландская кровь.

З и н и к. Ваши родители познакомились в России?

Д е Й о н г. Нет, они встретились в Берлине. Во время гражданской войны моя мать оказалась в Ялте и оттуда, когда Белая армия была предана союзниками, попала в Истамбул, а затем в Берлин, где она и познакомилась с моим отцом. Они прожили в Берлине несколько лет, и перед началом второй мировой войны переехали в Великобританию. Моя семья делала все возможное, чтобы воспитать из меня безупречного английского мальчика. Однако ни они, ни я толком не знали, что это значит; так что я считаю, что эксперимент удался лишь частично.

З и н и к. Но русский оставался тем не менее разговорным языком в семье?

Д е Й о н г. Одним из разговорных языков. Наряду с немецким и английским. Кроме того, моя мать плохо сходилась со своими соотечественниками из белой эмиграции. Она терпеть не могла эту смесь ностальгии со спесью и дурными манерами. Так что русский язык я слышал только в семье и не был до конца убежден, говорю ли я действительно на русском или же каком-нибудь литовском языке. Так продолжалось, пока я не приехал в Советский Союз, и прямо в аэропорту не сказал что-то на моем "семейном" языке; меня поняли и на том же языке ответили. Это меня окончательно убедило в том, что в семье я говорил все-таки по-русски.

З и н и к. Поразило ли вас современное произношение?

Д е Й о н г. Разница была огромной. Вначале произношение показалось мне чудовищно неприятным, но сейчас, спустя много лет, слушая старые эмигрантские пластинки Лещенко или Вертинского, понимаешь, что "белоэмигрантский", если так можно выразиться, акцент — как суп без соли.

З и н и к. Как случилось, что сейчас вы преподаете не русскую, а французскую литературу в Оксфорде?

Д е Й о н г. Как студент я изучал и русскую и французскую литературу. В то время, в 59-м году, русскую литературу изучали главным образом строгие девицы с непроницаемыми лицами, которые в жизни брали за образец — в лучшем случае тургеневских героинь, а в худшем — Коллонтай, а то и Крупскую. Когда передо мной стоял выбор, кому читать лекции, я представил себе эти физиономии, с которыми мне придется год за годом обсуждать, был ли Герцен славянофилом или западником,— и решил стать преподавателем французской литературы. Однако большинство моих работ посвящено русской культуре и так, я думаю, будет и впредь.

З и н и к. Одна из ваших крупных книг, однако, посвящена Бодлеру.

Д е Й о н г. Меня занимала идея Бодлера о душевном саморазрушении человека, ищущего власти как некой формы наслаждения, того, что я называю интенсивностью ощущений — то пушкинское "упоение в бою, у темной бездны на краю", но в ставрогинском духе. И связанной с этим ощущением тягой к насилию. Оба — и Достоевский и Бодлер объясняли этот человеческий феномен, этот новый человеческий темперамент кризисом веры, кризисом христианства. Это в свою очередь привело к зарождению идеологии как замене религии и экстраординарной убежденности в том, что цель оправдывает средства. Несколько упрощая, можно сказать, что, когда люди теряют веру в трансцендентальные философские категории, они обращаются к возбуждающим суррогатам, эмоциональным наркотикам — им уже важно не добро или зло, вечность или временность, но чисто эмоциональное возбуждение от совершаемых действий, как во время ставок в игре, скажем в рулетке. То, что согласно Достоевскому было не просто всепоглощающей страстью, но стало в его век руководящим принципом человеческого существования. Отношение к жизни, которое создает не только заядлых игроков, но и террористов: людей с бомбой в руке, приходящих в экстаз от вида кареты и великого князя в ней — представляющих себе, как и карета и князь сейчас взлетят на воздух.

З и н и к. Об атмосфере вседозволенности и "рулеточном" отношении к власти много говорится и в вашей книге о Распутине.

Д е Й о н г. Меня всегда занимала природа власти и злоупотребление властью: и в политическом и духовном смысле. По Достоевскому, искушение "стать надо всем", убив, скажем, старушку-процентщицу. В случае Распутина меня тоже интересовала проблема злоупотребления властью — крайне невинного, надо сказать, свойства, если вспомнить кем был Распутин. Он был простым мужиком, который был наделен даром лечить людей, заговаривать болезни, и, по идее, должен был таковым и прожить свою жизнь. И он действительно часть времени посвящал лечению, а часть времени спал со своими пациентками. История Распутина грустна, поскольку вас не оставляет чувство растраты человеческих усилий и таланта впустую. Он был наделен невероятной властью над людьми — и политической и духовной — но был начисто лишен того чувства ответственности, которое помогает употреблять эту власть с добрыми или злыми намерениями. Распутин, по моему, не был злым чудовищем, ничего особо ужасного лично не сделал и смерть, уготованная ему Юсуповым и его товарищами, была жестокостью. Он умел достойно вести себя в любых кругах, он не был, то что называется, нахалом. И, конечно же, он не был ни любовником императрицы, ни любовником Анны Вырубовой, ее фрейлины. Тот ущерб, который он нанес российскому престолу, проистекает не из его злонамеренности, а из безответственности в обращении с дарованной ему властью. Трагедия распутинской истории в том, что вина за эту безответственность должна возлагаться не столько на Распутина, сколько на тех, кто поверил в него. Для надутых аристократов с эполетами и бакенбардами "позором и безобразием" было лишь то, что чумазый крестьянин был допущен туда, куда не допускали даже их, и лишь поэтому Распутин был зачислен ими в слуги дьявола. В этом была трагедия.

З и н и к. Так что трагедия царского престола отразилась в судьбе Распутина?

Д е Й о н г. Вот именно: он не был причиной падения режима, но катастрофа России отразилась, как в зеркале, в судьбе Распутина. Отсутствие какой-либо политической дальновидности монарха, полная беспомощность его министров, бюрократическая чехарда с назначениями и отставками, полная некомпетентность правительства, где беспомощные умы со дня на день меняют свои решения, от которых зависит судьба гигантской страны, — все это отразилось в судьбе Распутина. Потому что сильный правитель никогда, никогда не допустил бы в своей стране что-либо хотя бы отдаленно напоминающее распутинскую историю. А государь-император выразился однажды, имея в виду свою супругу: "Лучше один Распутин, чем десять истерик на день". Никто — ни его отец, ни один российский государь до него, никогда не был особо обеспокоен женскими истериками.

З и н и к. Среди многочисленных книг о Распутине ваша отличается огромным объемом документального материала, включая газетные сообщения тех лет, не всегда напрямую касающиеся самого Распутина. Например, перипетии жителя Санкт-Петербурга, который решил завести почтовых голубей, что оказалось несбыточной мечтой, — поскольку для подобной невинной прихоти требовалось разрешение чуть ли не военного министерства: голуби рассматривались как средство передачи неподцензурной и сверхсекретной информации. Или же детальное описание того, как пили водку, какую водку и чем при этом закусывали крестьяне тех мест, где родился Распутин. Такое впечатление, что вам важна не столько фигура самого Распутина, сколько атмосфера его породившая? Сама распутинская эпоха, нежели ее главный герой?

Д е Й о н г. Как историк я оставляю большую серьезную историю большим серьезным историкам. Мне важнее, например, узнать, что после революции 1905 года, когда респектабельные дамы стали посещать знаменитые петербургские рестораны вроде "Медведя", обер-полицмейстер приказал снять замки с дверей всех отдельных кабинетов в ресторанах — чтобы нельзя было запереться и поставить тем самым под угрозу репутацию прекрасных дам. Так вот, подобные детали

говорят мне об эпохе больше, чем любые анализы Столыпинской реформы. Детали убедительнее. Вот хотя бы такой пример бюрократического волюнтаризма: в воскресенье после четырех вечера не разрешалось продавать спички. Или еще один: женщины не имели права ездить на втором этаже конки. К этому добавьте примеры хозяйственной неразберихи, такие, скажем, как тот, в результате которого рухнул под конной гвардией Аничков мост, хотя подрядчик и получил на его ремонт огромную сумму. Все это складывается в картину эпохи.

При этом бюрократическая нелепица и цензурный режим сочетались с атмосферой некоего ущербного "богоискательства". Распутин был человеком, который сумел перешагнуть пропасть, разделяющую простой народ, чернь и высшие классы России. Я бы сказал, что роль Распутина подобна роли Никона. Если Никон начал Раскол, то Распутин озаменовал собой распад ортодоксального православия.

З и н и к. В своей книге вы уделяете много места анализу религиозных движений в России конца XIX — начала XX столетия. И, в частности, говорите о христианских сектах, чье влияние в разных формах — вплоть до юродивых — чувствовалось даже в светской жизни Петербурга — от интеллигенции до придворных кругов. Какую роль сектантство играло в духовной "карьере" Распутина?

Д е Й о н г. В вопросе религиозных сект надо быть крайне осторожным. Тут нельзя обобщать. Большой специалист по сектантству в России, Бонч-Бруевич, брат известного революционного деятеля, считал, например, что хлыстовщины как таковой вообще не существует. Что же касается Распутина, то он не способен был подчиниться никакой религиозной дисциплине, даже внецерковной, сектантской. Он, однако, усвоил ряд идей, позаимствованных из сектантства, и среди них идею небесного спасения через земные грехи. "Испытание грехом" было личной проповедью Распутина, когда он выступал в качестве соблазнителя дам высшего света. Что же касается непосредственно религиозных сект, то их составляли главным образом крестьяне, зимой отправляющиеся в город на работу. К подобной простонародной крестьянской форме религиозности интерес не ослабевал и концентрировался

вокруг таких священников, как, скажем, Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский действительно проповедовал довольно-таки двусмысленную форму сектантской религиозности, устраивал в своем соборе спектакли массовой исповеди и покаяния, когда мужчины и женщины хором выкрикивали признания в собственных грехах в атмосфере явной истерии. Подобная истерия стала проникать и в образованные классы, где люди стали интересоваться слухами о хлыстовщине и подобных формах богоискательства; все это сопровождалось нюханьем кокаина и чтением символистской поэзии и создавало крайне странную болезненную духовную атмосферу.

З и н и к. Вы имеете в виду атмосферу, которая культивировалась одним из пророков символизма Вячеславом Ивановым, с ночными бдениями у него на "башне" в Петербурге?

Д е Й о н г. В кругах символистской поэзии — да. И Вячеслав Иванов в тот период пропагандировал Клюева, который непосредственно был связан с крестьянской религиозностью, с сектантством.

Однако тут нужно разделять лихорадочные поиски Бога в духе Достоевского и ту атмосферу салонов, которые кишели светскими дамами, находящимися в состоянии экзальтации и религиозного энтузиазма. Это были истеричные женщины, внучки шестидесятниц, которым надоело следовать скучным заветам своих бабушек и которые целиком отдались поискам странных и чуждых богов. Это было время, когда впервые за несколько столетий русской истории возобновилась мода на язычество, культ Перуна, с музыкой Стравинского и живописью Рериха, с жар-птицами и так далее. Возобновилась и мода на юродивых. В том же году, когда Новгород впервые познакомился с игрой в покер, в городе существовало, по крайней мере, одиннадцать юродивых, каждый носил вериги и власяницу. Подобная комбинация покера и юродства весьма поучительна и могла служить прекрасным фоном для символистской поэзии и для героев Достоевского. Однако героев и Достоевского и символистов отличало "подвижничество", "подвиг" понятие крайне чуждое, по-моему, Распутину.

З и н и к. Как бы вы объяснили подобный "сдвиг в умах", как тогда говорили, в вопросах религии?

Д е Й о н г. Популярность религиозного сектанства или, скажем, учения Толстого, в начале XX века объясняется прежде всего тем, что люди стали ощущать духовное бессилие ортодоксального официального православия. Об этом говорил еще Блок. И первым, кто дал картину этого духовного распада, был Андрей Белый. Андрей Белый говорил, что в романе "Серебряный голубь" он предсказал появление Распутина своим героем, главарем религиозной секты; Андрей Белый говорил о закваске из страстной религиозности и атмосфере насилия, об ожидании царевича, который где-то прячется и который стал символом всеобщей справедливости, правды и мира — который однажды объявит себя свету. Это, очевидно, и есть основная тема "Бесов". Можно, я думаю, утверждать, что к подобному состоянию умов приводит странная комбинация кризиса официальной религии и верховной власти при страсти к истине и к христианскому откровению — особенно в атмосфере России.

З и н и к. Почему именно в России?

Д е Й о н г. Трудно сказать. Я не думаю, что мое мнение по этому поводу крайне важно. Отчасти, я могу объяснить подобный духовный феномен невероятными размерами самой страны. Это означает, что официальной системе вероисповедания крайне трудно контролировать сердца и умы населения. Точно так же религия в Соединенных Штатах или Канаде рассыпана на бесконечные группы и секты, и до сих пор можно встретить духоборов или молокан за рулем огромных роскошных автомашин — они выглядят, как персонажи из оперы "Хованщина". Так что отчасти все объясняется географией. Отчасти укоренившейся жадной истины.

Маятник русской истории и культуры гораздо "размашистей", чем в любой стране Запада, и вместе с крайней степенью бюрократической дисциплины появляются в ней Пугачев или Распутин.

З и н и к. Не кажется ли вам интерес к мистизму, оккультным религиям, забытым и возрожденным формам сек-

тантства наряду с возрождением ортодоксального православия в наше время в Советском Союзе — этим повторным размахом маятника? Что вы думаете о советской версии Распутина в книге "У последней черты"?

Д е Й о н г. Любопытно, что публикация упомянутой вами книги совпала с решением снести Ипатьевский дом, где, как вы помните, последний государь император России вместе со своей семьей и спаниелем — не следует забывать и спаниеля — были умерщвлены большевиками. Может быть, уничтожая последнее пристанище русского царя, власти руководствовались страхом перед неким возрождением семейства Романовых? Что новый царь скрывается где-нибудь в амбарах Тамбова и готовится предстать перед народом? Однако, по мнению многих видных историков России, если бы завтра "Правда" объявила бы о собственном закрытии и о помазании монарха на трон, люди бы не удивились. Они вряд ли бы заметили особую разницу. "Страна у нас огромная, порядка только нет". Это ведь еще Алексей Константинович Толстой писал, больше ста лет назад...

З и н и к. Как атмосфера лихорадочного богоискательства в народных "низах" и среди интеллигенции отражалась на аристократии и придворных кругах России? Из вашей книги вроде бы следует, что эти круги воспринимали Распутина — я почти цитирую вас — не таким, каким он был, а таким, каким его хотели видеть?

Д е Й о н г. Я полагаю, что высшие круги церкви и многие верующие аристократических кровей, находившиеся при дворе государя, в тот период постоянно искали новых святых, новых "божьих людей", "старцев" и "странников", искали кого-нибудь, кто своим появлением докажет им самим, что Бог не забыл русский народ и православную церковь. Так, один из самых наивных поклонников Распутина, князь Живахов говорил, что хотя репутация и поведение Распутина по отношению к слабому полу и вызывает порой сомнения, но лучше раз ошибиться, приняв злодея за праведника, чем повернуться к истинному божьему человеку и пророку спиной, и тем самым задержать пришествие Спасителя.

**З и н и к.** Существуют документальные свидетельства чуть ли не пророческой силы Распутина как предсказателя. Он предсказал не только смерть Столыпина, но и свою собственную смерть. Более того, предсказал революцию и падение престола, указав в письме, что царь и его семья погибнут, если сам Распутин будет убит от руки родственников царя. Что и произошло. Как вы объясняете этот феномен?

**Д е Й о н г.** Мне, право, трудно судить о таких сверхъестественных способностях, как дар пророчества и предсказания. Распутин как пророка трудно сравнить с такими ясновидцами нашего времени, как, скажем, Ванга, которая живет в Болгарии, и, как говорят, играет важную роль в выработке пятилетних планов СЭВа. Вряд ли Распутину выстроили бы целый научный институт, как для этой самой Ванги. Он иногда предугадывал события: порой крайне смутно, в других случаях более определенно.

**З и н и к.** В одной из рецензий на вашу книгу о Распутине говорится, что Сталин был логическим завершением всего, что начал Распутин. Согласны ли вы с подобным выводом?

**Д е Й о н г.** Я не решусь оскорблять Сталина сравнением с Распутиным. Вся распутинская "карьеря" состоит из ошибочных шагов. Сталин же, насколько мне известно, никогда не ошибался. Двадцать миллионов ошибались. Но не Сталин. Если по этому поводу возникали какие-то разногласия, двадцать миллионов просто уничтожались. Он был воплощением идеи власти. Он всегда оказывался прав.

**З и н и к.** Каково писать книги о Достоевском или Распутине, сидя в одном из самых древних колледжей Оксфорда?

**Д е Й о н г.** Как будто возвращаешься в воображаемый родной дом, который выстроен в голове у каждого эмигранта или сына семьи эмигрантов из России. Все мы носим с собой некую Россию "карманного формата", которую Набоков описал как комбинацию из "Красной Армии, помазанника божьего Иосифа Виссарионовича и гидроэлектростанции". В моей "карманной" России Достоевский занимает не последнее место.

В чем-то новеллы бывшего московского адвоката Я.Айзенштадта очень похожи на всем нам знакомые материалы "Из зала суда". Однако сходство это чисто внешнее. Оно, может быть, лишь в том, что Айзенштадта, как и тех, московских, авторов, интересует прежде всего сюжет. Но тут-то и начинается различие. Под строгим цензурным запретом находится закулисная жизнь Москвы. Айзенштадт в своей книге, отрывки из которой мы предлагаем, приглашает нас ступить за кулисы: в мир московских гомосексуалистов и юных насильников, промышленящих к тому же грабежами и шантажом, в мир взяточников и их посредников, наконец, в околотературный мир, когда рассказывает о наследственном деле Ильи Эренбурга. Автор не навязывает нам выводов. За пределами его внимания — социальные и нравственные аспекты происходящего. Повторяем, его интересует лишь сюжет, очень нехитрый и порой даже не совсем профессионально выписанный. Он как бы говорит: "вот так развивалось это дело, а вот так — то... Мое дело лишь все это изложить". А выводы? Выводы предлагается сделать самому читателю.

*Яков АЙЗЕНШТАДТ*

## **ТРИ НОВЕЛЛЫ МОСКОВСКОГО АДВОКАТА РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ**

Советская цензура запрещает писать не только о проституции и употреблении наркотиков, но и о широко распространенном гомосексуализме (особенно среди музыкантов, артистов балета, в армии, в лагерях).

Надо заметить, что во многих странах нет уголовной ответственности за гомосексуализм (если он не связан с насилием и растлением малолетних). В СССР группа психиатров также выступила с предложением отменить уголовное наказание за гомосексуализм, по крайней мере, в том виде, как оно существует в настоящее время. По первой части статьи 121 Уголовного кодекса РСФСР гомосексуализм карается лишением свободы на срок до пяти лет. (Это наказание дается за "половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство), совершенное без применения физического насилия или угроз"). Однако предложение об отмене наказания пока не принято, и подсоветская Россия остается почти единственной страной мира, где гомосексуалисты наказываются в уголовном порядке.

Судебные процессы гомосексуалистов замалчиваются. Так, печать ничего не сообщила о большом судебном процессе в Московском городском суде, где на скамье подсудимых сидела большая группа подростков. Они обвинялись в разбойных нападениях на гомосексуалистов. Главному обвиняемому Диме Сорокину, которого я защищал, было шестнадцать лет.

Подростки хорошо знали, в каких местах в Москве собираются гомосексуалисты: в мужских туалетах на Петровке, напротив магазина "Детский мир" и, главным образом, в сквере у Большого театра, который в этой среде называется "плешка".

Подростки выделяли из своей группы мальчишку, который должен был служить приманкой для гомосексуалистов или для "гомиков", как они их называли. Выбирали такого, кто своей внешностью мог бы привлечь "гомиков". Он завлекал "гомика" в пустую квартиру дома, подлежащего сносу. За ними на небольшом расстоянии следовали остальные. Когда "гомик" с "приманкой" оказывался в пустой квартире, туда врывались остальные, наносили ему удар каким-нибудь металлическим предметом по голове, чтобы оглушить, потом связывали и грабили.

Расчет заключался в том, что "гомики" не пойдут никуда заявлять, ибо сами скомпрометированы. И действительно, большинство "потерпевших" не заявляли об ограблении, их разыскали сами органы следствия, основываясь на показаниях подростков и тогда "гомики" рассказали об обстоятельствах ограбления. Так, музыкант — солист военного ансамбля, возвратившись из гастрольной поездки в Японию, на "плешке" увязался за мальчишкой, который служил приманкой. По дороге купил шампанское, закуску, но как только зашел в пустую квартиру, туда ворвалась вся группа подростков, его ударили металлической трубой по голове, связали, отобрали деньги, часы марки "Сейко"...

Таких эпизодов и таких потерпевших было много, Однажды эти подростки попытались так ограбить молодого человека, студента 5-го курса экономического факультета Москов-

ского государственного университета. Но история повернулась самым неожиданным образом. Он сблизился с ними, начал проводить с ними "беседы" на сексуальные темы и вскоре возглавил группу. Дальнейшие нападения проводились под его руководством.

Сам он рассказал, что стал "гомиком", после того как был изнасилован в туалете музея Владимира Ильича Ленина. Когда шел судебный процесс, студент симулировал психическое заболевание, его дело выделили в отдельное производство и судили его позже, отдельно уже после осуждения Димы Сорокина и его друзей.

Роковым днем для обвиняемых оказалось 28 апреля. В этот день они во главе со студентом шли гурьбой по Ленинским горам, где чувствовали себя хозяевами положения. Дима Сорокин учился в ювелирном училище, у него был при себе заточенный скальпель и, угрожая им прохожему, хулиганы отобрали у него часы. Подошли к отдыхающим, которые развели среди деревьев костер. Выдали себя за "зеленый патруль", взыскали штраф за нарушение общественного порядка. Увидели, что под деревом сидят молодой человек и девушка, которые оказались одноклассниками, учащимися десятого класса средней школы. Девушка была дочерью известного деятеля советского кино, лауреата Ленинской премии. Юношу отделили от девушки, избили и заставили доставлять "сексуальные удовольствия" студенту. Девушку подростки пытались по очереди изнасиловать, но у них ничего не получалось. Сохраняя самообладание, она предложила компании, поскольку ничего не получается, пойти к ней домой, где родителей якобы не было дома. Подростки согласились. Один сопровождал ее на правах "кавалера", а все остальные двигались гурьбой сзади. Подошли к ее дому. Девушка с "кавалером" поднялась на лифте и вошла в квартиру. Остальные остались ждать на улице. Дом был полон гостей. Девушка сначала ничего не рассказала родителям, а шепнула лишь матери, что этот подросток хулиганил и приставал к ней. В этот момент раздался звонок в квартиру, и группа пыталась ворваться, полагая, что наступила их очередь. Отец девушки выгнал всех

из квартиры. После этого она рассказала родителям об изнасиловании. Началось расследование, была проведена экспертиза. Необходимо было срочно найти тех, кого отец потерпевшей выгнал.

Для розыска оставалась лишь одна ниточка. По дороге с Ленинских гор домой девушка дала "кавалеру" свой телефон, и следственные органы стали ждать, не позвонит ли он. Он позвонил через несколько дней. В результате преступление было раскрыто.

Но самое интересное выяснилось на следствии: как и почему эта группа стала заниматься разбойными нападениями на гомосексуалистов.

Оказывается, эти ребята жили в районе Ленинских гор, занимались в различных кружках во Дворце пионеров на Ленинских горах. Поскольку здесь было много подростков, то вокруг крутилось и много "гомиков", искавших для себя пару.

Милиция решила создать из подростков оперативный отряд для борьбы с гомосексуалистами. Одним из руководителей оперативного отряда стал Дима Сорокин. Подростки увлеклись этой борьбой, они попросту не считали гомосексуалистов за людей, думали, что в борьбе с ними все средства хороши. После этого и начались разбойные нападения.

Дима Сорокин и его соучастники были осуждены к различным срокам лишения свободы.

## **ВЗЯТКИ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ**

Взятки были широко распространены в России всегда, и нет никакой надежды на то, что их кто-либо и когда-либо сможет искоренить. Недаром Салтыков-Щедрин сказал: "Взятка — женщина в летах, но вечно юная".

В 60—70-х годах на моих глазах прошло много судебных процессов, где на скамье подсудимых оказались преподаватели вузов, бравшие взятки за поступление в институт или за

положительные отметки на экзаменах уже в процессе обучения. Наиболее крупный из всех этих процессов был судебный процесс преподавателей Московского Всесоюзного заочного политехнического института — ВЗПИ. Это самое крупное высшее учебное заведение в СССР, имеющее филиалы по всей стране. В этом институте — 60 тысяч студентов.

Дело рассматривалось судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда. На скамье подсудимых было 46 обвиняемых, из них 10 преподавателей института, а остальные грузины, поступавшие в институт за взятки и являвшиеся посредниками при передаче взяток другими грузинами. Я по этому делу защищал главного обвиняемого — Александра Михайловича Левита, служившего три года ответственным секретарем приемной комиссии, ассистента кафедры автомобилей, подготовившего уже кандидатскую диссертацию.

Любопытна была сама техника получения взяток. Для поступления в институт нужно было сдать четыре экзамена. Левит платил преподавателю, принимавшему экзамен по сто рублей за каждую положительную отметку. Таким образом, ему положительные отметки на приемных экзаменах одного абитуриента стоили 400 рублей, Сам же абитуриент вручал ему сумму от трех до пяти тысяч рублей. Львиная доля оседала у Левита, часть денег получал посредник. Постоянным посредником был живший в Москве грузинский врач Хачипуридзе. Именно он направлял приезжавших из Грузии "баранов" (так взятчники называли абитуриентов) к Левиту и за каждую "баранью голову" получал от Левита обусловленную сумму.

Большинство поступающих не знали русского языка и не могли заниматься в московском институте. Так что вскоре после зачисления в институт сами уходили из него. Основываясь на этом, Левит и его соучастники наивно полагали, что их дела не раскроются. Не будут же "бараны" сами рассказывать, что они давали взятку! Ведь и за дачу ее, а не только за получение, закон предусматривает строгое наказание. Но для чего же эти молодые люди из Грузии платили взятки, если

они не могли в этом институте заниматься и вскоре сами уходили?

Причина была более чем проста. В Грузии очень велик авторитет московского института. Например, в каком-то грузинском городке или местечке парень работает пекарем, а когда он представляет справку, что он студент московского вуза, его назначают заведующим пекарней. И тут сразу появляется "припек" и всякие другие доходы.

Как же было раскрыто это уголовное дело?

Два двоюродных брата Замтарадзе и Верулайшвили загладили Левиту при посредничестве Хачипуридзе 7000 рублей и были приняты в институт. Но после этого они решили поступить иначе, чем другие: захотели дальше учиться в вузе. Русского языка они не знали, сдавать курсовые экзамены не могли и потому передали через другого посредника — К. еще 7000 рублей преподавателям, которые должны были принимать экзамены во время зимней сессии. Не совсем ясно передал ли К. эти деньги по назначению, часть из них он, во всяком случае, присвоил. Замтарадзе и Верулайшвили затаили против него злобу. Между тем К., будучи жителем Цхалтубо, но живя временно под Москвой, в Сходне, отдал свой паспорт для временной прописки. Однако по каким-то причинам в это же время ему понадобилось сдать свои вещи в ломбард. Без паспорта вещи в ломбард не принимают, и он сдал их по паспорту Замтарадзе. В результате у К. оказалась ломбардная квитанция на имя Замтарадзе. С нею он уехал в Цхалтубо и там был арестован совсем по другому делу.

Суть его такова. В Цхалтубо у К. была квартира. На этот известный курорт приезжают тысячи людей со всех концов страны. К. сдавал одну из комнат своей квартиры для интимных встреч. Из соседней комнаты тайно фотографировал любовников, а потом шантажировал их, угрожая послать фотографии их семьям, на работу, в партийные организации и т.д. Естественно, несчастные люди платили ему. Вот по этому делу К. и был арестован.

При аресте у него нашли ломбардную квитанцию на имя Замтарадзе. К. не мог членораздельно объяснить, как к нему

попала эта квитанция, ибо не хотел раскрывать свое знакомство с Замтарадзе. Однако в квитанции были все данные, и Замтарадзе вызвали к следователю. Отправляясь на допрос, он решил, что вскрылось дело об институтских взятках, и сам рассказал, как он вместе с братом поступал в институт.

В это время министром внутренних дел Грузии был Шеварднадзе. По его указанию из ВЗПИ истребовали личные дела грузин, поступивших за последние годы в институт. Всех этих молодых людей собрали в Тбилиси и предложили им написать точно такие же диктанты и письменные работы по математике, какие были в их личных делах. И если в диктанте, хранившемся в личном деле, были одна-две ошибки, то в предложенном повторном диктанте их было до ста и более. После этого каждый был вынужден признать, что диктант в Москве он писал не в аудитории института, а в номере гостиницы и преподаватель подсказывал ему каждую букву, ибо эти труды преподавателя хорошо оплачивались.

Вскоре была раскрыта вся группа взяточников, их арестовали в Москве и этапировали в Тбилиси. Стало ясно, что за взятки были приняты сотни человек и что больше всего денег получил мой будущий подзащитный Левит. Шеварднадзе лично встретился с ним и объяснил, что сумма и количество взятки настолько велики, что ему грозит вынесение смертного приговора. Сделав паузу и выждав, когда подсудимый осознает сказанное, Шеварднадзе добавил, что если Левит вернет деньги, то ему будет сохранена жизнь. При этом Шеварднадзе обнял его и чуть не расцеловал. Левит, конечно, согласился. Он рассказал, что деньги закопаны на дачном участке у его тети в Лионозово, под Москвой. Его повезли в Москву, он показал, в каком месте следует копать — из земли была извлечена стеклянная банка, залитая гудроном. В ней оказалось несколько десятков тысяч рублей.

Расследование дела продолжалось более года. В Московском городском суде рассмотрение дела было поручено члену Мосгорсуда Зинаиде Апаринной. Эта была опытная, но неизменно жестокая судья. В местах заключения ее так и называли "Зинка-червонец", ибо меньше десяти лет она обычно не да-

вала никому. Много месяцев продолжался судебный процесс. В ходе процесса выявилось многое. Допрашивали, к примеру, мать молодого грузина, принятого в институт за взятку. "Почему сыну нужно было поступать за взятку именно в московский институт, ведь в Грузии много своих вузов?" — "В Грузии надо больше платить". И это соответствовало истине. Когда судили взяточников из Тбилисского мединститута (во главе с ректором), то выяснилось, что там за прием одного человека брали десять тысяч рублей. В Москве стоило дешевле, грузинка была права. Когда ее спросили, откуда она брала деньги на взятку, она ответила: "У нас свой цитрусовый сад. Если даже никуда не вывозить урожай, а продавать государству, то и тогда можно получить несколько тысяч рублей. Сад дает мне урожай много лет, а сын у меня один. Неужели один урожай я не могу потратить на то, чтобы мой сын стал студентом?"

В приговоре суда в отношении Левита Апарина написала: "заслуживает смертной казни", но учитывая ряд обстоятельств, назначила ему 15 лет лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме. К моменту вынесения приговора Левит уже сидел в тюрьме более двух лет. Вся надежда была на то, что он попадет в лагерь, где режим более свободный. У него не было сил больше находиться, как выражаются заключенные, "в крытке". Он хотел покончить с собой. Апарина это понимала и именно поэтому назначила пять лет тюрьмы, а не лагеря. Я выступил по этому делу в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР, и Верховный суд заменил тюрьму лагерем. Когда я приехал к Левиту в тюрьму и рассказал, что вскоре его отправят в лагерь, радость его была так велика, что можно было подумать, что его отправляют в роскошный правительственный санаторий.

Левита вскоре действительно отправили в лагерь, находящийся в поселке Тактамыгда, за Иркутском. Он хорошо работал, пользовался расположением начальства и благополучно отбыл срок наказания, который в порядке помилования был ему сокращен.

А взятки за поступление в вузы продолжают брать другие

ответственные секретари приемных комиссий и преподаватели вузов. Рассказывают, что на здании Тбилисского университета недавно повесили объявление: "На этот год все места проданы".

## НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

В 1967 году, вскоре после смерти Ильи Григорьевича Эренбурга, ко мне обратился мой товарищ по юридическому институту известный поэт Борис Слуцкий и передал просьбу наследников Эренбурга — его жены Любови Михайловны Эренбург и его дочери Ирины Эренбург заняться их сложным наследственным делом.

Сложность заключалась во многих обстоятельствах. Эренбург умер внезапно. Завещания не оставил. В состав наследственного имущества, помимо денег, большой дачи в Новом Иерусалиме (в Истринском районе Московской области), автомашины, авторских прав на литературные произведения, входила уникальная коллекция картин Пикассо, Марке и других выдающихся художников. Это все были подарки художников. Когда эта коллекция выставлялась во Франции, то Министерство финансов Франции оценило ее во много миллионов франков.

Между наследницами были сложные взаимоотношения. Любовь Михайловна не была матерью Ирины. Ирина родилась в Ницце в то время, когда Эренбург еще не был знаком с Любовью Михайловной. Многие считали, что мать Ирины — француженка. В действительности ее мать была наполовину немка, наполовину русская. В момент рождения Ирины она была замужем за другим человеком.

Сама Ирина была литератором и взяла себе псевдоним Эрбург. Любовь Михайловна, по профессии художница, сестра известного кинорежиссера Георгия Козинцева, ко времени смерти Эренбурга перенесла тяжелое сердечное заболевание и не могла приезжать ко мне в юридическую консульта-

цию или домой. С разрешения Президиума Московской городской коллегии адвокатов я занимался этим делом в кабинете Эренбурга, в его квартире на улице Горького. В этом кабинете мне пришлось провести много часов. Поистине он заслуживает специального описания. На письменном столе находились в особой подставке знаменитые эренбургские курительные трубки. В кабинете висели портреты Эренбурга работы Пикассо и других известных художников, но главное — были книги. Масса книг с автографами известнейших писателей, политических и культурных деятелей XX века. Эти люди в своих странах прошли путь от начинающих до классиков литературы или политических лидеров и на протяжении всей жизни дарили свои книги Эренбургу. На полках перед книгами из той или иной страны лежали предметы искусства или реликвии из этой же страны, которым позавидовал бы любой музей мира. Эренбург объездил ведь весь земной шар, и чего только у него не было! Его поклонники из Англии, например, подарили ему подлинную рукопись Петра Первого, она тоже находилась здесь же, в книжном шкафу. В спальне висели портреты Любви Михайловны кисти известнейших русских и французских художников. В столовой можно было увидеть античную скульптуру, найденную при строительстве московского метро и подаренную Эренбургу. Еще больше редких вещей хранилось на даче в Новом Иерусалиме, Одним словом, вполне можно было после смерти писателя организовать квартиру-музей, но никто не собирался популяризировать имя этого человека.

В кабинете Эренбурга я услышал массу интересного от Любви Михайловны. Она вспоминала многочисленные встречи с Пикассо и другими художниками и писателями. А однажды рассказала об обстоятельствах смерти Эренбурга.

Предстоял съезд писателей, и Илья Григорьевич собирался на нем выступить против цензуры в литературе. Чтобы избежать этого, его послали в почетную командировку в Италию — вручать международную Ленинскую премию мира итальянскому скульптору. Главный враг Эренбурга — Михаил Шолохов прекрасно знал об этом, но выступил на съезде писателей

с демагогической провокационной речью, где говорил, что вот мол Илья Эренбург пренебрег своими товарищами по Союзу писателей и укатил во время съезда к берегам Средиземного моря. Эренбург страшно расстроился. Обострилось мучившее его последние годы сердечное заболевание, что и привело к внезапной кончине.

После смерти Эренбурга осталось много неопубликованных глав его мемуаров, посвященных хрущевскому периоду, но напечатать их так и не удалось. Осталось много неопубликованных стихов. Хотели получить на Новодевичьем кладбище место по соседству с его могилой, чтобы поставить памятник с барельефом Эренбурга, сделанным по портрету Пикассо. Обратились за помощью к его "другу" заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР Палечкису. Тот обещал помочь, тянул и дождался того, что это место было занято другим захоронением. После этого сообщил, что место занято.

Моя задача заключалась прежде всего в том, чтобы юридически доказать, что Ирина и Любовь Михайловна являются наследницами Эренбурга. С трудом удалось установить, что когда-то Эренбург для поездки за границу официально удочерил Ирину, и еще больших трудов стоило найти документ об этом. Нужно было найти и свидетельство о том, что Любовь Михайловна — жена Эренбурга. Они вступили в брак в 1919 году в Киеве. Документ найти удалось, но не сразу можно было понять, какая в то время в Киеве была власть. В эти бурные годы власти на Украине менялись молниеносно. При внимательном изучении полуистлевшего свидетельства о браке литератора Ильи Григорьевича Эренбурга и художницы Любви Михайловны Козинцевой удалось с рудом разглядеть, что круглая печать разделена на три сектора и текст в них на трех языках: русском, украинском и идише. Стало ясно, что в это время в Киеве была советская власть.

Но как урегулировать отношения между наследницами и не допустить раздела коллекции картин? Они представляли ценность прежде всего как единое целое. Картин было несколько сотен. После долгих переговоров наследниц удалось

убедить, как важно сохранить целостной коллекцию, а затем составить от их имени два завещания: каждая из них завещала свою долю коллекции другой. Таким образом, после смерти одной из наследниц целостность коллекции не нарушалась. Было сделано исключение лишь для портретов Любви Михайловны, которые она завещала брату — кино-режиссеру Григорию Козинцеву. (Но жизнь оказалась куда коварнее, чем можно было ожидать. Когда Любовь Михайловна умерла, а через некоторое время умер и ее брат, эти портреты попали к новой молодой жене Козинцева, человеку для этой семьи совершенно случайному.) Однако основная коллекция картин сохранилась и до сего дня нетронутой.

Передо мной в этом наследственном деле стояла и другая задача. Чтобы ее объяснить, надо вернуться к обстоятельствам, возникшим еще во время второй мировой войны.

В Белоруссии, в одном партизанском отряде сражался московский инженер. Однажды отряд наткнулся на девочку, которая одиноко брела по лесу. Девочка говорила на какой-то смеси русского, белорусского и идиша. Эту девочку, оказавшуюся еврейкой, инженер увез домой, в Москву. Однако жена инженера невзлюбила девочку.

В это же время Ирина Эрбург приехала с фронта в Москву после гибели в боях под Киевом своего мужа писателя Лапина. Ей понравилась девочка, и она ее удочерила. Таким образом, у Эрбурга появилась внучка.

Семья Эрбурга окружила сироту заботой. Но, как это случается в жизни, девочка отплатила неблагодарностью. Прошли годы. Внучка Эрбурга кончила школу, затем вуз, стала кандидатом, а позже доктором медицинских наук. Но ни когда болели сестры Эрбурга, ни когда была больна Любовь Михайловна, ни даже когда заболел он сам, она не проявляла к ним ни малейшего внимания.

Эта женщина была замужем за сыном известного поэта Степана Щипачева, скромным и симпатичным инженером. От этого брака родилась дочь, ставшая правнучкой Ильи Григорьевича. К несчастью, брак внучки Эрбурга и Щипачева оказался неудачным и вскоре был расторгнут.

Однако, несмотря на испорченные отношения с приемной дочерью, Ирина была очень привязана к своей внучке, правнучке Эрбурга. Девочка жила вместе с нею, и теперь Ирина относилась к ней с такой же любовью, как когда-то к ее матери.

Так вот, мне нужно было подготовить от имени Ирины такое завещание, чтобы все ее имущество (дача в Новом Иерусалиме, машина и т.д.) не перешло к ее приемной дочери, а досталось бы правнучке. Для этого мной был использован, помимо текста завещания, существующий в советском наследственном праве институт "исполнителя завещания". Исполнитель завещания — это лицо, которое обязано следить за его точным исполнением. Исполнителем завещания назначили сына Степана Щипачева, отца правнучки. Он согласился на эту роль, о чем сделал запись на подготовленном мною и подписанном Ириной Эрбург (в нотариальной конторе на Трубной улице) завещании. Таким образом, он юридически принял на себя обязанность защищать интересы дочери, а не своей бывшей жены.

Но и на этом наследственное дело Эрбурга не кончилось. В то время когда были поданы документы в Первую Московскую нотариальную контору (ул.Кирова, дом 8) о введении в право наследования двух наследниц Эрбурга — его жены Любви Михайловны Эрбург-Козинцевой и дочери Ирины Ильиничны Эрбург, мне сообщили, что в ту же нотариальную контору поступило заявление от еще одной претендентки на наследство. Заявление было прислано из Краснодара. Приславшая его женщина называла себя дочерью Ильи Эрбурга и сообщала, что документы, подтверждающие родство, будут представлены дополнительно.

Я поехал к Эрбургам и рассказал о письме Любви Михайловне. Она недоумевала. Да, действительно, в Краснодаре когда-то жил двоюродный брат Ильи Григорьевича, но о том, что там еще и дочь писателя, она ничего не знала. Вспомнила лишь, что в конце войны, когда имя Эрбурга было особенно популярно благодаря его военной публицистике, у них в квартире раздался звонок в дверь. На пороге стояла молодая

женщина с ребенком и спрашивала Илью Григорьевича. Любовь Михайловна позвала мужа. Когда женщина увидела Эренбурга, то поняла, что ее обманули. Кто-то выдал себя за писателя и стал отцом ее ребенка. Увидев настоящего Эренбурга, молодая женщина извинилась и ушла.

Прошло шесть месяцев после смерти Эренбурга. Это был срок, в течение которого претенденты на наследство должны были представить документы в Первую нотариальную контору. Никаких подтверждающих документов из Краснодара не поступило. В семье Эренбурга решили, что письмо из Краснодара было проделкой Шолохова или его друзей. Здесь привыкли все плохое и неприятное связывать с именем Шолохова и его приятелей.

## *БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

### **ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:**

#### **ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"**

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

*КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,*

*КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,*

*КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,*

*КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.*

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
475 Fifth ave, suite 511-A  
New York, New York  
10017

## РОМАН ДВАДЦАТИ ПЯТИ ПИСАТЕЛЕЙ

В 1927 году Михаил Кольцов разослал группе из двадцати пяти писателей предложение написать коллективный роман. Роман, по замыслу Кольцова, должен был отражать пафос новой социальной жизни и обладать в то же время занимательностью детектива. Самым удивительным было то, что перед написанием этой детективной эпопеи ее создатели не нашли даже нужным встретиться. Не говоря уже о том, что не выработали никакого сюжета, даже никакой фабулы — все было пущено на самотек. Единственное, о чем договорились, была тема. Да еще, пожалуй, заголовок — "Большие пожары", те самые, что стихийно разгуливали по городам тогдашней России. Итак, Грин написал первую главу "Странный вечер", затем передал ее Никулину, от Никулина текст перешел к Свирскому, затем к Буданцеву, Леонову... Бабелю... Зоценко...

Так родился коллективный роман двадцати пяти писателей — беспрецедентный опыт в истории мировой литературы.

Каждый из авторов сохранил свой стиль, свой литературный почерк и, несмотря на это, вещь получилась цельной, написанной как бы на одном дыхании.

В романе, написанном на одиннадцатом году советской власти, отразились многие черты современности — здорового человека сажают в сумасшедший дом, угрозык взаимодействует с уголовниками, происходят события, в которые трудно поверить здравому смыслу. Не случайно авантурный сюжет "Больших пожаров" послужил толчком к появлению легендарных "Двенадцати стульев" и "Золотого тельца".

Роман написан самыми известными советскими писателями того времени, которые задумали как бы погрузиться в самую гущу жизни.

Вдохновитель "Больших пожаров" Михаил Кольцов заключает роман следующими словами: "Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни, не отрывайтесь от нее, не спите. Большие пожары позади. Великие пожары впереди", — пишет Кольцов, не подозревая, что и он и большинство его соавторов станут жертвами великих пожаров 37-го года.

## БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ

Глава первая

### СТРАННЫЙ ВЕЧЕР



Александр ГРИН

Делопроизводитель губернского суда Варвий Мигунов, возвратясь со службы, прошел на кухню, чего никогда не делал, и остановился перед плитой, где старая Ефросинья, женщина мышинового типа, с острым носиком и бойко играющими лопатками узкой, сутулой спины, прижав локти, размешивала соус с капорцами и красным перцем.

Сорок лет назад она готовила для Мигунова молочную кашу. Поэтому Мигунов несколько не удивился, услышав:

— Вам что здесь нужно, Варвий?

Это был голос занятого человека, с оттенком досады. Ефросинья даже не обернулась. Крылатку с капюшоном, зонтик, очки и яркие щечки Варвия она отлично видела в безукоризненном блеске медной кастрюльной выпуклости.

— Как устроено... э... — застенчиво сказал Мигунов, — устроено тут с плитой? Как она топится? Не выпадают ли на пол угли? Вот это я хотел посмотреть.

— Угли? — спросила старуха, с неодобрением игранув своими выразительными лопатками. — А что вам угли?

— Вы живете в своем мире, — кротко продолжал Мигунов. — Вы целиком ушли в хозяйство, кухню и тому подобное. Я

не осуждаю. Но я, пользуясь вашими хлопотами, имею свободное время, в течение которого читаю газеты. А читать газеты — значит жить общественной жизнью. Вот почему мне стало известно, что сегодня ночью произошло еще три пожара. Во-первых, сгорел только что отстроенный дом в три этажа, милая Ефросиния. Это — кое-что; во-вторых, истреблены огнем восемь товарных складов. И, в-третьих, — от театра "Спартак" на Лунном бульваре, остались дымящиеся развалины. Таково действие огня. Я мнителен, Ефросиния. Сознаю, это мой недостаток. И я зашел посмотреть — зашел мысленно представить, не выпадают ли из плиты угли, и если выпадают, то не могут ли они произвести пожар. Вот все. Я совсем не хотел вмешиваться в ваши дела.

— Бывает, что угли и выпадают, — сказала, смирясь, старушка, — но, как вы знаете, — здесь каменный пол. С этой стороны вам нечего бояться, Варвий.

— Я тоже думаю, — подхватил Мигунов, — и я очень вам благодарен, что пол... гм... каменный. Я хотел только взглянуть, на всякий случай, конечно, — так, ради... не знаю ради чего, — нет ли среди каменных плит пола какой-нибудь щели... гм... обнаженности, так сказать, деревянных частей...

Здесь незамужнее сердце Ефросиньи перебило Мигунова со строгостью самого революционного закона, которому он служил:

— Вы удивительно неприличны сегодня, Варвий! Что вы хотите сказать этими словесными выкрутасами?

— Какими выкрутасами?

Неизвестно, что подумала при этом слове старая кухонная фея, но она фыркнула. Мы не хотим сказать этим ничего плохого о ее нравственности. Она фыркнула от презрения к умственным способностям Варвия Мигунова.

— Так вы думаете, что это случайность? — спросила она, оборачиваясь к Мигунову с раскрасневшимся от огня, язвительно играющим лицом. Тут она заглянула в ложку, которой мешала соус, и вкусно облизала ее. — Я не читаю газет, но мне кошка на хвосте приносит. И ворона. Да-с! Они тоже живут "общ-ще-ст-т-венной жизнью". Златогорск горит две недели. В городе сгорело восемнадцать зданий. А вы твердите о какой-то неосторожности! Я вижу злодеяние. Упорное, систематическое злодеяние черных злодеев! Ваша обязанность, как судьи — схватить и казнить этих злодеев немедленно, иначе вы тоже преступник!

Хотя Мигунов был только делопроизводитель или, вернее, архивариус, Ефросинья не сомневалась, что служить в здании Златогорского суда значит быть судьей.

— Преступник?! — вскричал Варвий. — Повторите это еще раз, прошу вас!

— Схватить и казнить, — перебила старушка, энергично поджимая губы. — Не давая пощады! Немедленно!

— ...известно ли вам? — сказал Мигунов, воровски вкладывая эти слова в перерыв дыхания Ефросиньи, но его остановил, остановив также боевое движение острых лопаток Ефросиньи, громкий, как град, звонок.

Колоколец, висевший у черной двери на лестницу, затрепетал с силой необычайной; Ефросинья открыла дверь, и в кухню вошел человек с портфелем, худой, в черной огромной кепке и обвисшем пальто, коричневом с синей клеткой. Он был рыж, веснушат и нервен. В его движениях не было ничего положительного. Он не вошел, а как бы быстро вернулся боком, перевернувшись на месте, и стал без нужды рыться в карманах пальто, затем поздоровался, уронив кепку,

— Дождь, — быстро сказал он голосом сморкающегося, — проливной дождь. Добрый вечер, талантливая и суровая Ефросинья! Здравствуй, Варвий! Хотя я долго звонил с улицы и мог бы уже давно поздороваться с вами.

— Прости, Берлога, — сказал Варвий, беря от старого друга шляпу и портфель, — но я только что вернулся со службы и имел хозяйственный разговор. Ты кстати, так как сейчас подадут ужин.

— Я не хочу есть, — сказал Берлога. — Мы — газетная хроника — обедаем только в моменты добродетельного состояния общества. Убийство, растрата, хулиганство — мгновенно вырывают ложку из наших рук. Мы не доели еще и одной тарелки со времени Каина! Теперь — эти пожары или, как будет правильнее назвать их, — поджоги. Варвий, дай материал...

— Он должен поужинать, — решительно вступилась Ефросинья, разрезая своим чепцом пространство меж Мигуновым и Берлогой. Потрудитесь ужинать с нами.

— Варвий, — нетерпеливо продолжал Берлога, рассеянно взглянув на экономку и бессознательно отстраняя ее, — я скажу кратко, так как спешу. Старожилы сообщили нам в редакцию, что двадцать лет назад, в так сказать мрачные времена царизма, Златогорск пережил подобную же серию пожа-

ров, и поручили мне открыть это для трудящихся читателей. Статья должна стать одной ногой в прошлое, другой — в развалины театра "Спартак". Работать я буду ночью. Дай материал, — процесс, дело, документы. Ведь у тебя сохранились старые архивы здешнего суда?

— Хорошо, — начал с задумчивостью Мигунов, смотря в пар кипящего соуса, — но... Хотя я могу поехать с тобой сейчас. Однако, если ты имеешь час времени, мы могли бы поужинать. Это необходимо, и в этом доме никакое самое ужасное событие не вырвет у тебя ложку из рук,

— Нет! — с гневом подтвердила старуха, — Нет, пока я жива!

Берлога взглянул на часы.

— Хорошо, — сказал он, — скрепя сердце. Я устал. Правда, я хочу есть.

Съев очень немного и ежеминутно порываясь уйти, чем кровно оскорбил Ефросинью, смотревшую на него с жадной похвалой, Берлога увлек, наконец, как ветер бумажку, пищеварительно настроенного Мигунова к выходу и нанял в виде редкого исключения извозчика. Отъехав несколько, извозчик направился было ближайшим путем, но Берлога вдруг сказал:

— Стой! Узнаешь ты прежний пустырь?

Хотя Мигунов следовал от дома к архиву и обратно единственным, раз навсегда определенным путем, почему город был ему знаком односторонне, но он счел нужным покачать головой.

— Да, совершенно не узнать пустыря, — сказал Мигунов, — строительство советское развивается.

— О, кроткое существо! — вскричал Берлога: — знаешь ли ты, что такое эта махина?

Действительно, постройку можно было определить словом "машина". Она напоминала белый застывший взрыв чудовищного снаряда, поднявшего на воде взлет пены выше высоких мачт.

— Что это? — спросил Мигунов: — не музей ли это? А может быть, клуб?

— Просто, чудовищный особняк, — ответил Берлога, Коммунальному хозяйству были бы не по средствам такие причуды. Довольно сказать, что дом выстроен в два с половиной месяца. Вчера доставлены тысяча пятьсот ящиков с предметами обстановки, выписанной из Парижа и Лондона. Рабочих

рук занято было две тысячи. Все, как видишь, почти окончено. За одни чертежи уплачено архитектору двести пятьдесят тысяч — он специально приехал в Златогорск. Внутри никого не пускают, но ходит слух, что недра дома достойны вздоха. — Где же ты был, Мигунов?

— Ты знаешь, что я живу уединенно и не интересуюсь чужими делами.

— Уединенно! — сказал Берлога, давая знак извозчику ехать далее. — Это все равно, что к твоему дому подъехал бы автомобиль, а ты не услышал бы его грохота. Еще более удивлю тебя. Дом строит частное лицо. Хозяин дома — некто Струк, поляк, старик; ему восемьдесят пять лет. Он концессионер. Концессии в Закавказье, здесь, затем на Алтае и еще какой-то клочок за полярным кругом. Он приезжий и, как говорят, нищий.

— Нищий? Как это понять?

— Нищий, потому что он за границей мгновенно выиграл огромное состояние, начав с медяков. Но он был нищим. Следовательно, его богатство случайно, и его душа — душа нищего.

В это время мрачное здание архива суда показалось на набережной. Возле ворот маленькая дверь, ключ от которой делопроизводитель всегда носил при себе, вела в царство Мигунова. Приятели, отпустив извозчика, прошли по озаренному коридору в дальний конец здания, под низкий потолок, к пыльной неподвижности старых шкафов красного дерева, окутанной безлюдной тишиной.

Мигунов остановился около конторки с реестрами и, взяв от Берлоги справку, принялся хлопать тома. Тень переворачиваемых листов металась по помещению. Репортер, сцепив на спине руки, бродил около шкафов, заглядывая в их бумажные толщи.

Вдруг увидел он желтую бабочку, приняв ее сначала за моль. Она порхала среди шкафов, иногда так приближаясь к Берлоге, что он сделал попытку ее схватить.

— Эй! — вскричал он, — смотри, кто летает у тебя по архиву!

Мигунов обернулся в то время, как бабочка начала кружиться около его лампы и, потому увидел ее не сразу.

— Бабочка?! — спросил он с недоумением.

— Ну да! Хватай ее. Вот она! Там! — Берлога бросился к лампе.

Теперь увидел насекомое и Мигунов. Бабочка была резко-го желтого цвета, с синей каймой, и бархатиста, как те тропические создания, которые мы видим в музеях. Лениво трепеща крыльями, она казалась странным цветком, получившим таинственное движение.

— Никогда не видел таких! — кричал Берлога, хлопая шляпой по воздуху в то время, как Мигунов старался ударить насекомое папкой. Но бабочка прошла невредимо между их рук и, поднявшись выше, запорхала под потолком и исчезла. Села ли она и замерла где-нибудь наверху шкафа или заби-лась в щель — установить не удалось.

— Наверное вылетела! — сказал Мигунов. — Видишь, это окно открыто. Но зачем тебе бабочка? Пусть летит.

— Зачем? — повторил Берлога. — Не знаю, только мне смертельно хотелось ее поймать. Это было так красиво в тво-ем склепе. Нашел ты дело, о чем я просил?

— Здесь ничего не теряется, — ответил Мигунов с забавной сухостью специалиста, самолюбие которого задето пустым вопросом. — Вот документы, Шкаф шестой, полка вторая, дело 1057. Но...

Он протянул ключ к шкафу и остановился.

— Что случилось, Мигунов?

— Берлога, странное чувство останавливает меня. Дейст-вительно ли нужны тебе эти бумаги?

— Однако?!..

— Мне кажется, что лучше бы их не трогать.

— Но почему?

— А черт меня знает, откровенно скажу тебе! Что-то оста-навливает меня.

— Соус, — возразил смеясь Берлога. — Большое количество соуса. Однообразное питание, и отсюда консерватизм. Ар-хивная душа! Оставь свою мистику и подавай бумаги.

— Вот они. — Мигунов, перепластав часть слежавшихся кип, извлек рыжую по краям от ветхости синюю папку... — Спрячь, не потеряй... но... да, это чувство не оставляет меня. Мы кла-дем начало странному делу...

— Начало или конец — все равно мне, — сказал Берлога, но, знаешь, хорошо иногда сказать так, как сказал ты сейчас, — в неурочное время, в потаенном месте. Идем!

Берлога вложил папку в портфель; тем временем Мигу-нов запер шкаф. Сделав это, старик направился к раскрытому с решеткой окну и повернул скобу.

— Окно должно быть закрыто, — сказал он.

— Верно, — ответил Берлога. — Будь сам собой до конца.

Порядок прежде всего.

— Если хочешь, я опять открою его, — обидчиво заметил Мигунов, — хотя мне кажется, что так лучше. Однако идем.

Он потушил электричество, кроме лампы в коридор. Пройдя коридор, он потушил и этот огонь. Затем тщательно запер входную дверь.

Приятель удалился. Архив погрузился в оцепенение. Неко-торое время тишина и тьма стояли здесь в дружном объятии.

И вдруг огонь, озарив низы шкафов, стал сначала медлен-но, а потом все быстрее расплываться в кипах газет, начав дымить, как печная труба. Пламя, перелистая бумагу, по-ползло вверх и забушевало ненасытным костром...

## Глава вторая

### БОЛЬНАЯ ЖЕМЧУЖИНА



Лев НИКУЛИН

— Пожалуйста сюда, — сказал молодой человек в бархат-ных штанах и пропустил Берлогу вперед.

Английский замок, как пружинка мышеловки, щелкнул за спиной Берлоги. Молодой человек пошел к полированному желтого дерева бюро и отпер его ключом. Крышка откину-лась с грохотом, похожим на выстрел пугача.

— Ну-с, — сказал молодой человек, указывая Берлоге на стул. — Вы курите?

— Прежде всего я должен... начал Берлога.

— Прежде всего, — ласково прервал его молодой человек, — вы должны отвечать только на вопросы.

Серые глаза молодого человека прищурились и как бы зак-рылись. Загорелое лицо и широкие плечи показались Берлоге бесстрастным бронзовым бюстом, поднимающимся из-за бюро.

— Имя, фамилия, возраст и происхождение?

Точные вопросы требовали точных ответов, и Берлога, как мог, подробно ответил.

— Ваше мнение о гражданине Мигунове.

— Превосходное мнение, — сказал Берлога, — такое же, как у всех, близко знающих Варвия. Учреждение, например, почитает в нем исключительного специалиста, единственного в Златогорске ученого архивариуса. Разве не он разобрал, классифицировал и привел в порядок хаос уголовных дел, оставшихся от старого режима?

— Все это известно, — сказал сероглазый молодой человек, — и, однако...

— Пожар — стихийное бедствие! Надо знать, с каким ужасом Варвий относился к огню, особенно после этой эпидемии пожаров или, вернее, поджогов.

— В день пожара вы находились с ним вместе в архиве?

— Точнее, это был не день, а вечер.

— И вы не заметили ничего такого?

— Абсолютно ничего. Впрочем...

Желтая бархатистая бабочка с резкой синей каймой, бабочка, похожая на странный тропический цветок, затрепетала перед глазами Берлоги. Но нет, не говорить же об этом пустяке следователю.

— Впрочем?.. — повторил тоном Берлоги следователь.

— Ну, скажем, бабочка.

— Бабочка? — небрежно переспросил следователь.

— Бабочка довольно странного вида.

— Моль?

— Что вы!.. — И Берлога показал приблизительную величину бабочки. Следователь пожал плечами, поднял глаза к потолку и записал,

— Что вы имеете добавить?

Берлога посмотрел на часы.

— Позвольте заметить, — сказал он, — во-первых, я намерен сегодня посетить моего несчастного друга в лечебнице для душевнобольных, во-вторых, — у меня имеется ответственное поручение от редакции, так что я бы просил...

— Распишитесь.

И Берлога подписал показания.

Вертя в руках маленькую розовую бумажку, он шел по длинным, полутемным коридорам уголовного розыска, в воротах Берлога отдал розовую бумажку-пропуск часовому. Но уже в переулке под неожиданно жарким сентябрьским солнцем, он повернулся на каблуках, щелкнул языком и схватился за голову.

— А дело?.. Дело № 1057! Шкаф № 6, полка 2! Об этом я и забыл сказать...

И он побежал назад к воротам.

— Взять пропуск в комендатуре, — коротко сказал часовой.

Берлога посмотрел на часы. Без двадцати пяти два. В два часа конец приема в лечебнице.

— Ладно, — сказал он вслух, — успеется завтра, — и бросился по переулку.

Громящийся трамвай в восемнадцать минут домчал его до зеленых палисадников больницы. Пока его пропустили к больному, прошло еще две минуты. Таким образом, до конца приема посетителей оставалось пять минут.

Солнце отражалось во всех четырех стенах выкрашенной масляной краской комнаты.

В голубовато-серых мешковатых штанах и такой же куртке сидел на полу Варвий Мигунов. Яркие щечки подернулись восковой желтой бледностью. Очки Варвия Мигунова сползли на кончик носа, и белый пух клочками прорастал на щеках и подбородке.

Варвий Мигунов сидел на полу. Гора мелко нарезанной газетной бумаги выростала перед ним. Маленькими тупыми ножницами он вырезал похожие на елочные украшения спирали из газетной бумаги.

— Варвий, — скорбно произнес Берлога. — Бедный Варвий!

— Два часа! — бодро выкликнул звонкий голос за спиной у Берлоги. — Граждане, будьте любезны!

Доктор и ассистентка в белых халатах стояли в дверях компаты,

— Доктор, — грустно спросил Берлога, — в чем же дело? — И он сделал жест в сторону Варвия.

— Шок! — весело сказал доктор. — Сильнейшее потрясение, как результат стихийного бедствия. Интереснейший случай. Комбинация из мании преследования и навязчивых идей, Я в восторге.

— Прощай, Варвий! — печально вымолвил Берлога,

Варвий не поднял глаз. Маленькими скрипящими ножницами он вырезывал из половины газетного листа огромную острокрылую бабочку.

\* \* \*

Чудовищный, нелепый гребень белого особняка поднимался над одинаковыми крышами одинаковых домов переулка.

Берлога потратил несколько минут на то, чтобы отыскать что-либо похожее на калитку. Он находился в совершенном недоумении до тех пор, пока не услышал неизвестно откуда исходивший неопределенно глуховатый голос:

— Что вам угодно?

Берлога дважды повернулся на каблуках. Ни души за оградой особняка, ни души поблизости в переулке,

— Не валяйте дурака! — произнес тот же голос из трубки, похожей на телефонную, привешенную к ограде: — Отвечайте, что вам угодно?

— Мне назначен в половине третьего прием у Струка, я из "Красного Златогорья".

Металлические стебли ограды, зашевелились и раздвинулись. Открылось нечто вроде прохода — аллеи, ведущей прямо к дому. Двери автоматически открывались перед Берлогой. Высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью лестница. Затем он очутился в круглом, пахнущем свежей краской зале. Зал был не более трех сажен в поперечнике, и в центре зала пенился, шипел и прихотливо играл струями маленький фонтан.

— Пожалуйте сюда, — опять произнес глуховатый голос.

Ореховые двери, стоявшие до сих пор без всяких признаков ручек, раздвинулись и открыли вход. Далее был стеклянный зал, напоминающий ателье кинематографической фабрики. Стены и потолок зала были стеклянные. Большие стеклянные ящики стояли в два ряда в центре зала, образуя проход. Эти ящики были как бы витринами необыкновенного музея и вместе с тем походили на отдельные, маленькие оранжереи, разбитые под огромными стеклянными колпаками. Здесь росли разнообразные, разноцветные, разнолистые цветы и растения. Громоздились широколистые папортники, переплетались ползучие стебли, взметались вверх колючие, остролистые пальмы, зеленые шапки японских карликовых деревьев теснились за стеклом витрин, и всеми цветами радуги переливались невиданные тропические цветы,

— Что вам угодно? — спросил звонкий, совершенно непохожий на первый, голос.

Берлога обернулся. В нише окна, против света, стояла женщина. Короткое до колен платье можно было без риска назвать рубашкой или туникой. Очень стройные ноги, открытые до колен, достаточно отчетливо рисовались на матовом стекле.

За стеклом было солнце. Женщина рисовалась силуэтом на стекле. Но когда она спрыгнула с подоконника и пошла навстречу Берлоге, он уронил на пол сначала кепи, потом блокнот, потом свою гордость — американское самопишущее перо.

Волосы молодой женщины были рыжие или, вернее, золотые. Особенно хороши были губы, изогнутые, как лук, и тонкие, явно подрисованные брови и глаза, расширенные, сияющие и вместе с тем насмешливые глаза.

На ней было подчеркнуто простое платье, но цвет платья менялся вместе с ее движениями и играл всеми цветами спектра.

— Фокус, — подумал Берлога, потупил глаза и увидел отсвечивающие туфли из металла, и с грохотом опять уронил все, что держал в руках: кепи, блокнот и американское перо.

— Что вам угодно? — опять повторила она, — Однако вы заставили себя ждать, господин журналист.

Она говорила по-русски с легким, еле слышным приятным Берлоге польским акцентом.

— Виноват, — сказал, приходя в себя, Берлога, — у нас выражаются "гражданин", а не "господин".

— Мы здесь три дня, — мелодическим и насмешливым голосом продолжала она, и жестом велела ему следовать за собой,

— В Европе и Америке нас атаковали на вокзалах, на пристанях, на аэродромах репортеры. Вы же здесь, в Златогорске, удосужились появиться на третий день.

— У нас были более важные темы, — сухо ответил Берлога. — Открытие колонии для беспризорных, изобретение монтера Фокина, семидесятилетний юбилей прима-балерины.

Она шла впереди, и Берлога опять утратил самообладание. Теперь это происходило от близости прекрасной, соблазнительной линии плеч, шеи и затылка.

— Я желал бы видеть гражданина Струка, — грубовато сказал он, стараясь прийти в себя.

Молодая женщина села на диван. Берлога сел против нее в кресло. Теперь он ее видел совсем близко и рассмотрел то, чего сначала не заметил — на шее женщины была нитка жемчужин. Их нельзя было назвать жемчужинками, слишком велика была каждая из них.

— Стоит ли вам говорить с большим старикашкой! — ска-

зала женщина. — Я его внучка — Элита Струк. Все, что нужно, вы узнаете от меня. — И, оттянув пальцем нитку жемчуга, она вдруг сказала: — Вас интересует ожерелье? Это жемчуг герцогини Беррийской. Ему много лет. Посмотрите.

Она наклонилась к Берлоге, и Берлога увидел чуть не вплотную шею и плечи. Легкий пот выступил у него на висках и рыжие волосы зашевелились на голове.

— Бедный жемчуг, — сказала Элита Струк, — Бедный, больной жемчуг. Здесь тридцать две единственных в мире розовых жемчужины. Одна из них больна. Вы видите свинцовое пятнышко. Жемчуг болеет. Я ношу его для того, чтобы вылечить жемчужину. Моя кожа хорошо действует на нее. Впрочем, если бы найти подходящую кожу, пожалуй, можно бы совсем вылечить жемчужину.

— Послушайте, сударыня, — свирепо сказал Берлога, — Редакция "Красного Златогорья" интересуется не вашим больным, черт бы его драл, жемчугом, а концессиями Струка.

Она покраснела и отодвинулась. Краска бросилась ей в лицо, и брови сдвинулись, образуя одну прямую линию, И вдруг она рассмеялась.

— Хорошо. Кстати, о концессиях.

Как настоящий делец, с подробностями и цифрами, достойными специалиста и знатока, она рассказала Берлоге о концессиях. Репортер еле успевал записывать. Он оживился и повеселел.

Берлога уходил. Она проводила его до стеклянного зала. Любопытство и непонятная Берлоге усмешка были в ее глазах.

— Погодите, — вдруг сказала она. И, отодвинув раму первой справа стеклянной витрины, сорвала желто-синий цветок.

— Если хотите, возьмите себе этот цветок... Или нет...

Маленькие белые руки с гранеными ноготками воткнули цветок в петлицу Берлоги.

— До свиданья!

На улице Берлога снял кепи и долго ерошил волосы, Сквозь запах улицы, сквозь дым асфальтовых котлов и бензин редких автомобилей он чувствовал острый и слегка дурманящий запах желто-синего цветка. И, почесав указательным пальцем бровь, Берлога задумчиво произнес:

— Оказывается, некоторые женщины представляют некоторый интерес.

Вечером, прямо из редакции, Берлога отправился домой. Он жил в общежитии сотрудников "Красного Златогорья" и сотрудников треста Госстекло — бывшей гостинице "Сан-Себастьяно".

В узенькой, двенадцатиаршинной комнатке помещались стол и кровать, стул и умывальник. Берлога снял пиджак и повесил его на стену. Слабый сладковатый запах чуть прорывался через ароматы общежития, где вечно в коридорах и на кухне что-нибудь жирно шипело на восьми примусах.

— Да! — воскликнул Берлога, — а дело, а пожар? — За работу, товарищ Берлога!

Он повернулся к столу и вскрикнул.

Дела в синей обложке, дела № 1057, не было на столе.

— Глаша! — завопил на весь коридор Берлога.

— Чево! — неторопливо ответил из-за перегородки в коридоре голос.

— Вы убрали здесь?... На столе дело в синей обложке.

— Чудак-человек, — сказала Глаша, — да вы ж сами за ним присылали из редакции.

—Я?!

— Вы! Вот и ваша записка.

Широкая, сильная женская рука просовывает Берлоге в щель двери записку.

Берлога держит в руках листик из блокнота. Бланк газеты "Красного Златогорья". Чей-то чужой, но уверенный, размашистый почерк:

"Даша, подателю сего дайте дело в синей обложке. С тов. приветом Берлога".

— Кто принес?

— Так, один... Штаны очень рваные и из себя так шатен, а может, брюнет... За всеми не углядишь.

— Черт!.. — вдруг завопил Берлога, накинул на плечи рыжее в синюю клетку пальто и выбежал на улицу.

На улице он остановился у трамвайной остановки. Трамвай заставил себя ждать. Десять или двенадцать человек стали в хвост позади Берлоги.

— Гляди, гляди! — вдруг закричали в хвосте.

Берлога обернулся.

Пламя желтыми острыми дымящими языками било из окон общежития сотрудников "Красного Златогорья" и треста Госстекло.

## Глава третья

**ПЕТЬКА КОЗЫРЬ  
ИЗ СТРУГАЛЕВКИ**

Алексей СВИРСКИЙ



Берлога недаром обладал длинными ногами: не прошло и минуты, как он уже был у подъезда общежития; рванул дверь, метнулся к лестнице, поперхнулся горьким дымом, и с разбегу было занес ногу на третью ступень, — как вдруг на его голову упало что-то большое, мягкое и тяжелое.

Берлога хотел ухватиться за перила, но не успел, покачнулся и во весь рост свалился навзничь, раскрыв головой входную дверь.

Репортер, однако, не растерялся, быстро поднялся, потер ладонью ушибленный затылок, поднял свою блинообразную кепку, накрыл рыжую голову, неожиданно для самого себя неприлично выругался и снова хотел вскочить на лестницу, но навстречу ему с быстротой падающего предмета спускалась Глаша.

— Не ходите!.. Коридор весь в огне!.. Я чуть не задохлась!.. Только успела постель спасти!.. Вон он, мой несчастный узел!.. Наверно, зеркальце разбилось!..

С этими словами она скатилась вниз, оправила расстегнувшуюся на груди кофточку, схватила узел в охапку, выбежала с ним на улицу и тут же, среди собравшихся любопытных, опустила его на землю и заплакала.

К Глаше подошел Берлога.

— Глаша, как же это случилось?

— Не знаю, Василь Васильич, с вашей комнаты началось... И хоть бы кто дома был!..

Берлога невидящими глазами обвел собравшуюся около дома толпу, указательным пальцем провел по переносице и, не сказав больше ни слова, широко зашагал по направлению к редакции.

К вечеру пожар прекратился. Пять команд с охрипшим брандмейстером во главе, изнемогая от усталости, добивали водяными струями умирающий огонь.

Всего сгорело четыре дома. Погорельцы с остатками домашнего скарба расположились на противоположной стороне улицы, образовав нечто вроде цыганского табора.

Среди комодов, кухонной утвари, табуреток, матрацев, железных кроватей, узлов, разбитого пианино с оскаленными клавишами бегали ребятишки, играя в прятки, голосили грудные дети и мудро расхаживали отцы семейств, зорко сторожа обломки погибшего благополучия и обдумывая планы будущей жизни.

Один из них, маленький человечек с большими колесообразными очками — бухгалтер треста Госстекло — заранее считывал в уме, во что обойдется этот пожар Госстраху в общем и сколько, в частности, получит он — бухгалтер — за себя и за своего инвалида-отца, тут же прикурнувшего в спасенном мягком кресле, уткнув в грудь белый клок свалывшейся бородки.

\* \* \*

По опустевшему берегу, держась поближе к реке, торопливо шел человек среднего роста в рваном пальто. Он зябко сутулился, неся под мышкой круглый сверток, обернутый в газетную бумагу.

Миновав городскую пристань, человек этот, по имени Петька Козырь, приближался к железнодорожному мосту, перекинутому через реку и ведущему к заречной окраине, известной под названием Стругалевка.

Все, что родится в потемках большого города, вся его голь перекатная, все бездомное, нечистое, преступное, все выпавшее из жизни стекалось и ютилось в Стругалевке. Среди маленьких домишек, рассыпанных по крутому обрыву, большим серым пятном выделялся бесконечно длинный двухэтажный каменный дом, принадлежавший когда-то известному мещанину Стругалеву, держателю трактира "Венеция", служившего штабом для всех золотогорских воров и проституток.

Революция смела Стругалева вместе с укладом старого быта; и теперь бывший дом Стругалева управляется домкомом с председателем Михаилом Селезневым во главе.

Селезнев, когда-то известный под кличкой Мишка Кишмыш, занимался кражами со взломом, но после революции твердо решил покончить с прошлым и принялся за оборудование стругалевской трущобы.

С помощью жены, бывшей премьерши публичного дома, Женьки Огонь, а теперь Валентины Ивановны, и старого приятеля — ночного вора — Алешки Ша, а ныне Василия Петровича Нетрогова — Селезнев организовал жилтоварищество.

Как ни странно, а Селезнев оказался хорошим председателем. Жена секретарствовала и строго следила за нравственностью обитательниц Стругалевки. Она в каждой женщине видела проститутку и никому не давала спуска. Казначей Нетрогов и его патрон Селезнев никому не доверяли, видя в каждом гражданине вора.

Вот об этом самом председателе думал Петька-Козырь, переходя через мост.

"Ведь сам был вором, а теперь только и делает, что лягавит, сволочь, паршивец..."

Петька выцикнул косой плевком и зябко съежился.

"Покажись ему только на глаза, — продолжал думать Петька, — и сейчас же начнет допытываться: "Что это у тебя, милый, под мышкой? А покажешь — сейчас в ЗУР донесет, а то еще чище — в ГПУ проскользнет, холера недоношенная"..."

Петька еще раз плюнул и сошел на берег.

Осторожно обходя переулочками, он достиг Стругалевки, юркнул в боковой проход, поднялся по каменной скользкой лестнице, узким длинным коридором прошел в самый конец здания и, подойдя к двери своей каморки, трижды ударил по ней кулаком,

Дверь открыла Ленка Вздох, стриженная девица с папиросой в ярко накрашенных губах,

— Ты где пропадал весь день?! Уж я думала, не засыпался ли ты часом...

— А где Шило? — перебил Ленку Козырь,

— Вон он дрыхнет, лодырь.

Ленка указала на кровать,

Парень, спавший на кровати, поднял взлохмаченную голову, обвел комнату широко раскрытыми глазами и выпрыгнул из кровати.

— Ну, что, получил? — спросил Шило у Козыря.

— Ничего не получил... Дай дух перевести.

Петька положил сверток на стол, уселся на табуретку и, не торопясь, приступил к рассказу.

— Вот это, значит, как получил я от вчерашнего нашего посетителя записку с приказанием достать какую-то папку в

синей обложке и принести ее в тот новый дом, я так и сделал. Пришел я в то самое общежитие, допытывался, где живет газетный писатель гражданин Берлога, передал записку уборщице, а сам остался дожидаться в коридоре.

— И вдруг это она, уборщица, выходит, и обеими руками этак папку мне и выносит. Я ей это сейчас же "мерси" и ухажу. Вышел я на улицу, и раздумье меня взяло. Захотелось мне очень узнать, что в сей папке содержится. А вдруг, — подумал я, — про богатейшее там наследство указание имеется, а может быть, и того лучше, про забытый клад рассказывается...

— Вот это, значит, раздумался я, так и решил: прошаландаться до вечера, а как стемнеет, прийти сюда, да как следует рассмотреть содержимое, да поразмекать хорошенько, что нам с этой папкой делать.

— Молодец, Козырь, — похвалил товарища Шило,

— А я скажу, что оба вы дураки, — вмешалась Ленка: — весь день на дикофте сидим, папиросами питаемся, благо, запас большой, от голода слюни все высохли, а вы в мудрость ударили! Получил папку — отдай, возьми червонец — и шамать будешь. А теперь — играй на пустых кишках, как на балалайке!

Шило громко расхохотался.

— Ну и Ленка!.. Вот бы твой язык да в колокол — такой пошел бы звон, что все жители оглохли. Ну, да ладно: накинь на дверь крючок, да разворачивай шурье.

Спустя немного, три головы склонились над развернутой папкой.

Читал Шило — самый грамотный.

— Так, значит, дело было в пятом году... Хм-м... Так-то... Обвинялся... Хм... Житель русской Польши... шестидесяти лет от роду. Хорош мальчик!.. Обвинялся в поджогах и шпионстве. Недурно! Ну-ка, дальше почитаем... Так вот оно что!.. Мальчик-то сбежал! Н-да... Где-то ты сейчас? Если в Ресефесере — уже, брат, не сбежишь...

Шило тряхнул кудрями и поднял голову.

— Читать больше нечего, — сказал он: — все ясно, как на горном озере. Двадцать лет тому назад здесь были такие же пожары, как и сейчас. Поджигал какой-то поляк. Вот и все. Теперь, стало быть, вопрос: кому это дело понадобилось и какая ему цена. А цена, должно быть, здоровая. Цена здесь, братишки, сотнями червонцев пахнет!..

— Так и я думаю, — вставил Петька, оправляя густые коричневые усы.

— Но вот в чем дело, — опять заговорил Шило, — Здесь ухо надо держать востро. По-моему, нам следует поторговаться. А чтобы больше взять — устроим конкуренцию. Сначала повидаемся с этим самым Берлогой, потолкуем с ним малость, а потом богатому дому условие объявим: "Даешь сто червонцев — и папка твоя".

— Верно! — с чувством воскликнул Козырь.

— А как это сделать? — спросила Ленка.

— Очень просто, — сказал Шило, — теперь очередь будет за тобой. Тебе придется замарьяжить этого самого Берлогу и потянуть его на свидание. А мы будем в известном месте и побеседуем с Берлогой.

— А ежели он не пойдет?

— Тогда ты не женщина, а средний род!

— Дай, я ей объясню, — заговорил Шило. — Ты как только представишься ему, — сразу поймешь, как фраер дышит. Ежели он охоч до баб — ты живым манером его скрутишь, а [ ежели он не мужчина, а пылко замороженный судак, ты его на любопытстве поймай. Скажи ему, что баба на Спиридоновке родила ребенка о трех головах. И он за тобой побежит, как теленок за коровой.

— Сам ты корова! — обиделась Ленка.

— Дура ты!.. Ведь я так, для примера.

На другой день утром, когда солнце золотило реку, Ленка Вздох, напудренная, накрашенная, в осеннем пальто, отороченном мехом, вышла из дому, держа путь к центру, где находилась редакция газеты "Красное Златогорье".

## Глава четвертая

### ТВОРЧЕСТВО ГРАЖДАНИНА КУЛАКОВА



*Сергей БУДАНЦЕВ*

В тот злополучный вечер Берлога остался без крова. Опустошенный, измученный, непривычно прислушиваясь только к себе, он шел по улицам, и не узнавал города. Город был тих,

сир, сер. Безлунная, черная южная ночь уже навалилась на окраины, на реку, засеребрившуюся в темноте, и подымалась на запад, как ленивое, горячее чудовище, Берлога не узнавал города. Улицы с выгоревшими домами походили на челюсть с выбитыми зубами. На углах стояли усиленные посты милиции, и по центральной Советской улице два раза на крупном гунтере проскакал товарищ Корт, начальник милиции, похожий на Ваську Денисова из "Войны и мира", веселый, распорядительный, краснорожий человечек, молодцом сидевший в седле.

Берлога раскланялся с Кортом и не успел опустить руку, как сзади его схватили за локоть.

— Гражданите, — зашипел встревоженный полушепот, — гражданите, извинин!

Берлога недоуменно повернулся. Это был прекрасно выбритый, не старый человек, с желеобразными, пухлыми и легкими щеками, между которыми с превосходным изяществом плавали толстый носик и пара улыбающихся губ. Все это было иллюминировано живыми, голубыми глазками. Контрабандная серая шляпа, коверкотовое пальто, — нет, решительно, Берлога где-то видел этого человека! Несомненно, местная, златогорская фигура!

Гражданин изгибался, приседал и приговаривал, временами странно картавя, гнусава, на каждой фразе чудовищно заплетаясь языком и путая слова:

— Пардон! Я рад, что вижу порядочного человека. Вы кланяетесь с товарищем Кортом? (Берлога не ослышался.)

— Ну, так что?

Берлога поглядел на собеседника обозленным, каким-то шершавым взглядом, нахлобучил кепку и так резко двинулся вперед, что задел развевающейся полой назойливого гражданина, намереваясь с ним расстаться навсегда. Гражданин почти бросился ему под ноги и, подняв пухлую руку, просипел:

— Но ведь город полон преступлением!..

И он пошел за крупно шагавшим репортером, рассказывая ему странные вещи.

— Вы обнимаете вращение, товарищ? Вы обращаете внимание, хочу я сказать?! — и он широко поводил рукою. — Как безлюдно все кругом! А ведь в эти часы по Советской улице обычно гуляет весь город. Все напуганы и ошеломлены. Пожары!..

"Он сумасшедший", — подумал Берлога и оглянулся назад. Оглянулся и оторопел. Человек шел странной, припрыгивающей походкой. Оживленно пророчествуя и жестикулируя, он сам не замечал, что правой ногой высоко ступает по краю тротуара, а левую едва успевает волочить по булыжной мостовой,

— Что с вами? — спросил Берлога.

— Да вот, знаете ли, — безмятежно ответил тот, — пошел за вами и захромал что-то. Боли нет, а хромаю!..

Берлога забыл все на свете, все тревоги и огорчения и захохотал,

— Ха-ха-ха! — разносилось по ярко освещенной и совершенно безлюдной улице. — Вот это рассеянность! Я еще не видал такой рассеянности!

— Совершенно верно, я рассеян. Потому что я занят своими мыслями, — с достоинством заявил незнакомец. — Кругом кишит такое зло, и я должен бороться.

— Да кто вы такой? — сквозь веселые слезы осведомился Берлога.

Странный человек вдруг приосанился, поднялся с мостовой на панель, сделал несколько шагов с тем ложным достоинством, которое он, вероятно, напускал на себя в гостиных, приблизился к Берлоге с протянутой рукой и отчетливо отрекомендовался:

— Предрешите расставиться: Кулак Иванов!

"Что?!" — хотел заорать Берлога, но крик и смех мгновенно замерли на губах. Он вдруг увидел, что перед ним несчастный больной, со странным расстройством речи. Это был Иван Кулаков, младший владелец местной нэповской фирмы "Братья Кулаковы": мукомольное дело, "кустарная сарпинка" и лесной склад. Берлога вспомнил, что в редакции он смутно слышал о каком-то несчастье, постигшем эту семью, но тогда нэпманскими огорчениями не заинтересовался и теперь напряженно догадывался, в чем дело.

Рукопожатье затянулось, Кулаков не выпускал из своей пухлой теплой руки холодных пальцев Берлоги.

— Мы уже пошли дочки, — бормотал он, — Вот отделение милиции, нам сюда и надо.

"Почему нам?" — и Берлога, волоча усталые ноги, поплелся за безумным нэпачом.

В отделении стоял кислый запах распаренной кожи, дегтя, неистребимой с зимы затхлости. Кулаков спросил, где дежур-

ный, и, узнав, что дежурный в кабинете начальника, направился туда. Берлога, уже подчинившийся власти этой нерассуждающей деловитости, последовал за ним.

— Вот в чем дело, товарищ дежурный. Как честный гроветский сажданин, товарищ дежурный, я считаю вас долгом предупредить, товарищ дежурный!..

И так, через каждые три слова повторяя "товарищ дежурный", наклоняясь через стол с необыкновенно таинственным видом и легкой грацией галантерейного приказчика у прилавка, Кулаков развел какую-то декларацию верности завещаниям революции и своих заслуг. Дежурный — крупный, рыжеусый человек, с такими веснушками, что они скрывали даже выражение лица, — помалкивал, позевывал и только по мере возрастания горячности говорившего расстегивал все глубже куртку, обнажив бязевую сорочку с завязочкой, а под ней — белую, нежную, совершенно девическую грудь.

— Итак, товарищ дежурный, — бубнил Кулаков, — выхожу я перед вечером и вижу на нашей площадке преступление совершение. Совершается преступление, хочу я сказать. На нашей лестнице, дверь в дверь с нами, живет торговец Прейтман. Я знаю, недавно его векселя опротестовывало Общество взаимного кредита. У него не заплачено страховальное социание!.. И что ж я вижу?! Толстая ихняя кухарка, бывшая экономка, выносит самовар и так, знаете ли, укрывается от меня. Я сразу понял, что это значит: выносят вещи от предстоящей описи.

Дежурный повел рыжим усом, — здесь пахло нарушением закона.

— А вам что угодно? — брюзгливо спросил он Берлогу.

— Я с ним! — Берлога показал на Кулакова.

— Значит, подтверждаете?

И не успел усталый, удрученный всем происходящим и происходившим Берлога сказать что-нибудь, как дежурный, вскочив с пружинистой бодростью, закричал превосходным оперным баритоном:

— Эй, товарищ Ковтюх!

И через несколько минут Берлога, Кулаков, с ними милиционер, все время звеневший, как шпорами, какой-то жестяной дрянью в карманах, шли ловить преступного торговца Прейтмана.

\* \* \*

В голубой гостиной с пухлой репсовой мебелью, с креслами, больше похожими на постельные принадлежности, было так тихо, что казалось, что город отделен со всеми своими тревогами и несчастьями от этого уютного закоулка замершими молчаливыми парками, прудами, луговинами, Разговор двух женщин и одного мужчины велся в придушенных тонах к которым обязывал голубой полумрак, плававший в комнате.

— Как быть, доктор, помогите? — спрашивала молодая, полная блондинка, остриженная так коротко и так прилизанная, что голова ее казалась покрытой лубяными пластинками. — Ведь Ваня делает бог знает что! Он доносит на знакомых в ЗУУР, в ГПУ, разносит про всех небылицы, всех обличает. А последний его поступок с Сонечкой, ведь это ужас!

— Да, это ужас, — подтвердила Сонечка, долговязая и вполне зрелая дама, похожая на худую, англазированную лошадь.

— В чем же дело? — спросил доктор и наклонился так почтительно и так низко, что заскрипел подтяжками.

И обе они, понизив до шепота встревоженные голоса, сообщили, что сегодня утром прибыл, как снег на голову свалился, Пантелеймон Иванович, глава фирмы "Братья Кулаковы", и едва не разнес весь дом. Он получил от Ивана телеграмму, в которой тот сообщал, что Сонечка сошлась с торговцем Прейтманом.

— Наша дружная семья разваливается! — стрекотала блондинка.

— Ну, вы преувеличиваете, — заметил доктор, пожав плечами и снова заскрипев подтяжками. — Весь город знает, что Иван Иванович психически болен.

Тут Сонечка встала во весь свой исполинский рост и в два шага смерила всю комнату по диагонали.

— Да, некоторые пользуются его бредом! Муж накричал на меня, надавал подзатыльников ребятам и скрылся. Вот уже весь день как его нет!

Соня только трубно высморкалась.

— Тут наука бессильна, Валентина Петровна, — сказал доктор. — Все предупреждены о поступках вашего мужа...

— Но его же надо запереть в сумасшедший дом! — заявила Сонечка.

— Помилуйте, — сказал доктор. — Ваш бо-фрер переживает самую счастливую пору... Профессор находит, что он пережи-

вает так называемую творческую стадию прогрессивного паралича. Что делать, если интеллект Ивана Ивановича оказался от природы... э-э... как бы сказать... недостаточно подготовленным для высокой катастрофы.

В это время в коридоре послышались тяжелые, шлепающие шаги. Открылась дверь, и из темноты донеслось свистящее дыхание.

"Ну и одышка!" — успел подумать доктор.

В дверь едва пробилась женщина неопишуемой толщины, напоминавшая колокол, на который посажена квашня с вытекающим тестом.

— О господи! Да что же это такое? — заговорило это сооружение из жидкого жира. — Матушки мои! Иван-то Иваныч сейчас милицию привел, говорит — вещи от описи укрываем!

— Где опись? Какая опись?

Валентина Петровна потянулась в кресле, сделав измученное лицо.

— А кто ж его знает, что на него накатило! Ладит одно: опись. Самовар, говорит, вы выносили. А я действительно самовар вынесла в сад. Нешто по такой духоте можно чай пить дома! Подите, Валентина Петровна! Ваш муж! Расхлебывать надо! Втемяшится же человеку такое!

Валентина Петровна поднялась с кресла, с томным изяществом протянула доктору руку, как бы говоря: "Вы там тоже понадобится", но в это время дверь снова открылась и строгий голос произнес:

— Прошу оставаться на местах! Все улажено.

Все четверо изумленно оглянулись. Иван Иванович, войдя с победительным видом, втащил за собою растрепанного человека с портфелем, в черной огромной кепке и в коричневом в синюю клетку пальто.

— Это гражданин Берлога, журналист! В городе пожары. У него сгорел дом. Он будет спать у нас.

\* \* \*

Берлога видел сон. Он забрался в любопытную пещеру, всю освещенную зеленоватым светом, в которой волшебным сияли бесчисленные колонны сталактитов. Он шел среди этой колоннады уверенно и быстро. Далекий, слегка верещащий звон слышался откуда-то, и именно на этот звон поспешил Берлога. Он спешил к пробуждению. Его разбудил журчащий

звонок телефона, шедший неизвестно откуда. Открыв глаза, с неосознанным, но острым желанием увидеть сгоревшую свою комнату, Берлога с неудовольствием снова сомкнул ресницы. Но телефон верещал, и Берлога повернулся. Оказалось, он спит на кожаном диване, из-под сбившейся простыни лизнула его бока холодная скользкая кожа. Циклопическое кресло с разбросанным одеянием стояло перед самым носом. За ним возвышалось шведское бюро. Над бюро ядовитым зеленым светом, пробивавшимся сквозь портьеру, сияло окно, Телефон верещал. Неслышно открылась дверь; чуть прищепывая туфлями, вошел на цыпочках, кутаясь в халат, вчерашний чудак. Он нашарил трубку где-то за портьерой, и Берлога услышал его сонный, гнусавый голос:

— У Соломона... Телефон Абрамыч, здравствуйте.

Разговор был, очевидно, резкий. "Вы сами сумасшедший и дурак, гражданин Прейтман!" — рассерженно крикнул Иван Иваныч и с дребезгом бросил трубку. В том же возбуждении, он резко раздвинул заскрипевшие на петлях портьеры, в комнате победно разлилось позднее утро.

— Стыдно спать так поздно, — сказал Иван Иванович проповедническим голосом, и плюхнулся в кресло на Берлогины штаны. С этого мгновения Иван Иванович уже не покидал нового друга. Он помогал ему одеваться, проводил в уборную, в ванную комнату, и не отлучался от запертых дверей. Неизвестно, когда он успел одеться, но к завтраку в пустую столовую они вошли вдвоем, и Иван Иванович сиял превосходным серым костюмом и желтыми ботинками.

— Печатное слово, — заявил Иван Иванович, прихлебывая кофе, — мне нужно для того, чтобы обличить всю несправедливость моего класса.

Берлога похолодел. Он был как бы в трансе. Липкая духота со вчерашнего вечера навалилась на него, непобедимая и тяжкая.

Когда они вышли из полутемных, пыльных, занавешенных дорогами тряпками комнат на улицу, зрелище совершенно ясного дня нагнало счастливую улыбку на лицо Берлоги. Черный лакированный, с никеливым капором радиатора приземистый лимузин "Ролл-Ройс" повернул с угла и, тихо припадая на рессорах, вздыхая мелодическим гудком, прошел мимо них. Берлога успел заглянуть внутрь, и дыхание у него пресеклось. Элита Струк покоилась на серых подушках. Берлога

не чувствовал, что он погиб. Виденье медленно проплывало мимо, И вдруг ее голова, колеблемая движением автомобиля, как цветок, повернулась, глаза их встретились в упор, и она — счастье тяжело ударило его в сердце — она улыбнулась, наклонила голову в сиреновом расшитом колпачке,

— Пантелеймон! — завопил на всю улицу Иван Иванович и бросился за автомобилем. В заднем окне мелькнула мужская шляпа, Автомобиль, почти не прибавляя ходу, мгновенно выскользнул на Советскую.

Берлога догнал нового приятеля на углу. Он стоял растерянный, и совершенно осмысленное горе горело на его толстом лице.

— Ах, мой брат с этим дьяволом!.. И я сам виноват... Нет, мне нужно печатное слово!

Так, каждый со своими мыслями, добрались они до редакции. После ослепительно-яркой улицы полутьма помещения показалась Берлоге непроглядной. Запах табачного дыма и дух сенсаций — свежей типографской краски — неистребимо жили здесь. За капитальной стеной мягко и мощно погромыхивали машины. Берлога по звуку узнал: две американки и вторая — "плоская". Разрезаясь в глазах Берлоги, полутьма превращалась в знакомые предметы — столы, стулья, шкафы.

Неожиданно из самого темного угла вышла напудренная, накрашенная, в осеннем пальто, отороченном мехом, женщина, с фиолетовым лицом, страшная, как душа никотина, жившая в этих прокуренных стенах. Ленка Вздох протянула твердую, как валец, руку в нитяной перчатке и спросила деликатно-сиплым голосом:

— Вы — гражданин Пещера?

И вдруг, взглянув на Ивана Ивановича, замерла с открытым ртом.

Она высвободила руку и быстро вышла на улицу. Берлога видел, как тень ее мелькнула по широкому занавешенному окну, услышал сзади тяжелые шаги, мимо него, как кабан, протопал Иван Иванович, стена:

— Елена! Изверг мой!

Резко задребезжала дверь, и ошеломленный Берлога остался наедине с тихим погромыхиванием машин за стеной.

## Глава пятая

ПЛОХИЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ

"Сверхъестественно глупо!" — вяло решил Берлога, опускаясь в кресло, которое так и подхватило его, точно и оно было в заговоре со всеми. Голова отказывалась работать и лишь попусту обременяла плечи. Работали и суетились одни лишь Берлогины руки, беспокойные репортерские руки. Он сам с изумлением заметил в руках своих редакционный блокнот, по которому торопливо бегала его автоматическая ручка. Подозрительно поднес он блокнот к самому носу, но ничего не смог разобрать. Берлога подбежал к окну, не отрывая от блокнота глаз и вдруг дико отшатнулся.

"Берлога, Берлога, Берлога. Сошел сошел, сошел. С ума, с ума, с ума. Баста, баста, баста" — так было написано на листке со всевозможными вариациями почерка.

Именно злость и воротила Берлогу к яви. И вдруг он понял, что уже не утро, а ночь; что ему предстоит делать недельную сводку фашистских зверств; что в шесть его напрасно ждал зубной врач, а в семь — некая девушка, непритворным целомудрием которым заинтересовался с некоторого времени любвеобильный репортер; что в половине восьмого начался в его отсутствие шахматный турнир; что у него украли самым непостижимым образом целые полсутки и теперь секретарь наверняка глаза ему выцарапает за безделье; что он ужасно хочет есть и что все это до необыкновенности глупо.

Он рванулся комком в дверь и вот уже несся вниз по лестнице, полутемной от казенного света, засоренной обрывками типографской бумаги. Впрочем, дорогой он ухитрился закутить, чтобы хоть немного заглушить позывы голода.

Дневные занятия в редакции кончились, вечерние еще не начинались. Берлога несся, перескакивая через ступеньки, когда его остановил на пути странный шепот голоса, еще не совсем заглохшего в его ушах. Кто-то говорил с кем-то по телефону, на лестничной площадке под самым Берлогой.

— ...Вовсе нет, мисс Элита! Знание русского языка еще вовсе не значит знание глубин и вулканических способностей русского сердца, — бархатисто извивался незнакомый голос. Берлога ошеломленно прислушивался со своей площадки... Ну, ясно!.. Что-о? Да, все благополучно спущены в прорубь... Я всегда утверждал, что вы умеете найти острое словцо, мисс! Что такое?.. Нет, бумаги я передал Прейтману. Полезно не уничтожать их покуда... А вот Мигунов, действительно был опасен. У этих архивных мышей нюх и память потрясающая... Да нет же! Вот сразу и видно, что вы еще совсем девочка, мисс. Я же вам говорю: Берлога — бабник и дурак явный!.. Оттащить в сторону?.. Надо выгадать время? Слушаю, мисс! Мигунова убрать немедленно? Слушаю-с... опыт в четверг? Там же?.. Вы шутите и сводите с ума бедного россиянина, мисс!

Берлога притаился. Визгливый вскрик снизу выдал его местопребывание.

— Эй вы, черт возьми! Какого дьявола вы мне голову на окурки сыплете? — орал снизу Кулаков.

В следующую же минуту, видимо, узнав в свесившемся человеке Берлогу, он потащился вверх по ступенькам. Тут только Берлога сообразил, что, смущенный краткой своей аттестацией, которую неизвестный передавал, очевидно, Элите Струк, он выронил окурочек прямо на голову стоявшего под лестницей Кулакова.

В ту же минуту неизвестный, лица которого в темноте никак нельзя было различить — видна была только выдающаяся вперед характерная челюсть с блестящим белым оскалом зубов — налетел на Берлогу и прижал его к стене, навалившись руками и всем телом.

— Извиняюсь, товарищ... — приподняв бровь, чувствительно сказал Берлога.

— Вы вот наваливаетесь, а у меня аппендицит... Так вы, извиняюсь, определенно полагаете, что я дурак? Что ж, полный или неполный, по-вашему?

— На три четверти! — проскрежетал незнакомец.

Берлога во время этой реплики все отводил ногу назад и вдруг смаху ударил ею противника.

Он метил в самый низ живота, но не рассчитал гипертрофической длины своей ноги, и удар пришелся лишь в мякоть

ноги над коленом. Неизвестный вскрикнул, и, в то же мгновение двое покатались вниз, теряя пуговицы и начисто вытирая жирную грязь ступеней.

Вначале телефонный собеседник Элиты Струк удачно наехал на Берлогу и целый лестничный пролет проехал на Берлогином животе, как на салазках. Не теряя присутствия духа, он тузил его все время в живот, левой рукой держась за длинный Берлогин нос, такой же тощий, как и его злостный обладатель. Берлога лишь мычал что-то про свой отличный и сверхвыносливый живот. Внизу их поединок принял более активные формы, но все же это не было ни боксом, так как был один сплошной б р э к, ни французской борьбой, так как никто не соблюдал правил даже самого примитивного приличия.

Берлога почти не дрался, ему хотелось лишь выбраться скорее из грязной лестничной этой дыры, отбиться от цепких объятий.

Ему удалось уловить слабое место противника своего, и это спасло его. Диким прыжком он выскользнул на двор, в целую аллею огромных катушек ротационной бумаги, полусыпанных снегом. "Бесхозяйственность! Погодите, голубчики, я вас расштукатурю в отделе "Режим экономии". А еще строителями социализма называетесь. Могильщики вы!" — мельком прищурился репортер на гибнущие сокровища, раскидывая длинные ноги так, словно бежал какой-нибудь сумасшедший циркуль... Его спасло то мелкое обстоятельство, что, несмотря на все свои злодейские качества, незнакомый драчун зверски боялся щекотки.

Сейчас этот новый и жуткий персонаж нашего романа метнулся испуганной вороньей тенью в щель калитки. Берлога потирал разбитое колено.

...Редакционный мальчик выскочил вдогонку. Его всегда заспанный голос сейчас перебивался искрами оживления:

— Товарищ Берлога! Вас там к телефону спрашивают из сумасшедшего дома. Уже который раз звонят.

Оглушенный потоком потрясений физических и моральных. Берлога устало взял трубку.

— Говорят из лечебницы душевно-больных Златогорского губздрава. Главный врач просит вас срочно приехать, в виду необходимости вашего свидания с больным Варвием Мигуновым.

— Варвий, Варвий, поверженный и разбитый на голову старый друг мой! — Тоска и свора злых предчувствий опять вгрызлись в Берлогино сердце. Он нахлобучил на голову кепку-блин и двинулся по улице прямо по мостовой, спотыкаясь и падая, потешая зевак, пугая милиционеров, нарушая самым видом своим благопристойный распорядок улицы. Огромная его тень бежала рядом с ним.

Он перегнал новенький автобус, последнюю гордость Златогорска, чудом спасся от двух автомобилей и совершил сотни разных мелких уличных поступков, которые свидетельствовали о неустойчивости его, как человека — частицы организованного городского движения.

Заросший волосом от постоянного соприкосновения с сумасшедшими, дикий и пьяный на вид служитель провел Берлогу вверх по лестнице, потом по чистенькому и спокойному коридорчику, и с вежливостью, с какой он, наверно, завязывал больных в смирительную рубаху, распахнул дверь в одну из комнат налево.

Берлога вошел на порог комнаты и попятился назад. Посреди комнаты, возле самой Варвиевой койки, сам Варвий, живой, осязаемый, играл с другим больным в шахматы. В его позе было что-то от старого, нормального Варвия. Суховатое, важное спокойствие, с каким он наклонялся, бывало, над кипой бумаг, отыскивая нужную, как пастух отбирает овцу в большом стаде... Двое больных в той же камере деловито и солидно вырезали бабочек из плотной старорезимной бумаги и складывали их в кучку на столе.

— Варвий, что с тобой, милый? — ласково спросил Берлога, зацепляя ногой табуретку, чтобы сесть, и одновременно распахивая пальто. Но запнулся, остановив свои расширенные зрачки на двери. Оттуда шел заросший верзила-служитель в сопровождении такого же верзилы. Они несли в руках нечто похожее на смирительную рубашку и... направлялись прямо к Берлоге.

Рослый служитель торопливо взял его за борт коричневого, в синюю клетку пальто.

— Я ничего не понимаю... — жалобно пролепетал Берлога, сразу весь обмякнув в верзилиных объятиях. — Варвий, должно быть, я и в самом деле сошел с ума!

...Когда Берлога затих, спеленатый верзилой со всей возможной тщательностью, он долго лежал молча, наблюдая, как

играют на потолке неясные световые блики, забрасываемые туда улицей. В окно гляделась тусклая провинциальная ночь; в саду, невдалеке, глухо гремела духовая музыка,

— Варвий... — с жестокой тоской в сердце позвал Берлога, — Варвий, поворачи меня на бок, чтоб я мог видеть тебя!

Архивариус подошел и, стоя над Берлогой, сделал ему какие-то гримасы, но довольно, впрочем, осмысленного свойства.

— Молчи, — сказал он глухо, точно из деревянного ящика, — Лежи и молчи. От окна тебе не дует.

— Поддувает, — слабо ответил Берлога. — Я не узнаю тебя, Варвий. Скажи, ты поддельный или настоящий?.. Молчишь, Варвий? Где бумаги? Где дело № 1057? Тут какая-то нелепая история...

— Говори тише... Этот рыжий посажен сюда только для наблюдения. Где Ефросинья? Что у тебя с лицом?.. Оно все в пятнах каких-то...

— Это кровь! — тихо бросил Берлога и поворочался от воображаемой боли.

Берлога лежал молча, припоминая все подробности дневных своих приключений. Вдруг он вспомнил про неистовую схватку на лестнице и не сдержал стоны,

— Моя ручка... моя автоматическая ручка! — вырывалось у него сквозь слезы. Не стесняясь перед приятелем ни ребяческих слез своих, ни своего ребяческого вида, потому что и Варвий выглядел не лучше его, Берлога в немногих словах передал ему содержание подслушанного разговора. — А больше всего жаль мне ручки... эх, какая была ручка, Варвий!

Комната представляла собою гладко и ровно выбеленный куб, в котором не было ничего, кроме коек, четырех коек, Берлоге приходилась четвертая, последняя. Двое больных беспрестанно занимались тем, что пускали по воздуху бумажных бабочек.

— Вытри мне с лица чернила, Варвий! — с неподдельной грустью попросил Берлога. — Вытри хоть халатом своим... нехорошо ведь. Что сказали бы в редакции, если бы увидели меня спеленатого и с этакой мордой, Эх, Варвий, душа болит...

И вот уже приступал Мигунов к исполнению приятелевой просьбы, как вдруг дико оттолкнув что-то воображаемое, Варвий отскочил на середину комнаты.

—Вон! — кричал он на своих товарищей по камере, — вон!

Меня, сошедшего омолодить человечество, вы запираете в казематы, чтобы проделывать над ним свои опыты? Я еще покажу вам... я раздроблю вас в пыль и посею в нее мое зерно, мои машины соткут города, мой огонь сравняет с прахом все эти записи вековых человеческих страданий: тюрьмы, музеи, храмы... На новой бумаге, новыми словами я напишу историю земли! Пустите меня...

Тогда дверь раскрылась и вошел в сопровождении давешнего служителя главный врач. Теперь, однако, верзила был в халате с засученными рукавами, отчего руки его как бы удлинились на целую четверть: так показалось Берлоге. С минуту врач стоял в задумчивости, поочередно переводя глаза с беснующегося Варвия на меланхолическое лицо Берлоги.

— Вот этого сперва... — сказал он, показывая на Берлогу, — И, пожалуйста, не расшиби по дороге.

Он лежал в объятиях верзилы с самым дурацким лицом. Руки верзилы, тщательно вымытые, слащаво пахли душистым мылом. Врач шел впереди, не оглядываясь. Коридор казался нескончаемым.

И потому ли, что ничем иным не мог выразить негодования по поводу столь несправедливого обращения с работником советской прессы, он, не помня себя, изловчась из рук верзилы, плюнул в самый затылок шедшего впереди в белом халате.

Главный врач златогорской больницы для душевнобольных спокойно обернулся. В его глазах вспыхнули два убийственных светляка.

— Что, будете путаться в чужие дела? Вы увидите, чем это кончается.

## Глава шестая

### ПЯТЬ ГЕРОЕВ ПРОЛЕТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Юрий ЛИБЕДИНСКИЙ

Собрание мелело и шло на убыль, как горная речка в летнюю засуху. Основное — доклад Пожидаева, редактора газеты "Красное Златогорье", о задачах борьбы с пожарами в городе — уже прошло.

Нагнулся к уху председатель и сказал: — Звонили из проходной, товарищ Пожидаев. Там Беренс ждут, — сказал он, почтительно снижая голос при упоминании фамилии Беренса — предисполкома.

Пожимая твердые ладони и приветливо кивая тем из знакомых рабочих, до которых нельзя было дойти, Пожидаев направился к выходу.

Машина идет мимо пустырей, загаженных близким присутствием города. Пожидаев щурил покрасневшие глаза туда, где в пустых и свободных пространствах осенней степи блистала река. Сейчас он, безумно покачиваясь на рессорах могучего "Фиата", отдыхал после доклада, приятно чувствуя, что рядом с ним, задевая его время от времени плечом, сидит его приятель Беренс, с которым вместе бедовали у Деникина и с которым сейчас вместе работают в одной парторганизации. Правда, случалось иногда вздорить, и дело порой доходило до охлаждения, но привычка друг к другу сказывала свое, и теперь уже семейный Беренс нет-нет, да и выбирал время, чтобы провести вечерок с холостым, веселым и беспорядочным Пожидаевым.

Сейчас Беренс заехал за Пожидаевым, чтобы отвлечься от мыслей о пожарах, мыслей, которые в каждую секунду суток не отходили от него и которые никаким усилием воли он отогнать от себя не мог.

До сих пор Беренс думал, что он знает край и тех, кто его населяет, как свою руку, большую, широкую, с тыльной части поросшую черными волосами и пересеченную белым шрамом на сгибе. До сих пор так приятно было думать, что многочисленные враги, имеющиеся в крае, эти люди из бывших крупных чиновников и дворян, духовенства, кулаки и нэпманы разных мастей, — все ведомы ему, и каждая их попытка бороться уже заранее предугадана и будет легко и быстро пресечена нажимом могучих пружин всех учреждений края.

А теперь эти пожары — откуда они?

Он не сомневался, что все будет обнаружено. После пожара архива он твердо был уверен, что чья-то преступная воля направляет эти пожары. Но кто это?

"Фиат" взревел и жадно берет подъем. С пригорка открылось широкое пространство садов и огородов. Город уже близко. В пестроте осенних садов видел Беренс ослепительно-белое здание детского городка, развернутого в прошлом го-

ду. Он вспомнил ту тяжелую работу, которая предшествовала торжественному открытию, вспомнил, как сам он недавно ездил туда и любовался счастливыми ребятами, совсем не похожими на хмурых товарищей его детства. И в любой момент неведомый преступник может превратить в уголь эти прекрасные дома и осиротить тысячи ребятишек! Опять на его лоб набежала гневная морщинка, — он двинул ногой и задел Пожидаева. Тот сочувственно глянул в зеркало, вделанное в переднее сиденье. Там он увидел широкое лицо Беренса, с прямым лбом и прямым носом, с черными редкими и кудрявыми волосами, бегущими по скулам и вдоль тонких губ. "Подвело его, — подумал Пожидаев, — даже не побрился... И веснушки сильнее выступили".

— Здесь, несомненно, бьют на панику. Пользуются своей недосыгаемостью и в ней уверены, — сказал глухо Беренс.

Пожидаев быстро ответил:

— Да. Элементы паники и психоза сейчас налицо. Это я по запискам сужу, которые мне присылали рабочие. А воображаю, что сейчас делается в обывательских кругах!

— Вообще говоря, ничто не действует так на обывателя, как именно пожары, — продолжал Беренс. — Да... Вот хотя бы эта история с моим репортером, Берлогой... Человек он нервный, даже немножко экзальтированный. Я дал ему задание найти в архиве данные о больших пожарах, которые у нас в городе уже раз были. Ведь в общем ты это знаешь. Это в связи с сумасшествием архивариуса Мигунова. Потом был пожар в общежитии, после которого он исчез. Мы считали, что он сгорел. Каково же было мое удивление, когда я у себя на письменном столе обнаружил его блокнот с записью, сделанной им собственноручно. "Берлога сошел с ума. Берлога сошел с ума"... и еще что-то в этом духе. Позвонили назавтра в психиатрическую, он и верно там. Теперь, сегодня, можешь себе представить, нахожу опять-таки у себя на столе следующий оригинальный манускрипт.

Говоря все это, Пожидаев тревожно рылся в карманах пальто, френча и брюк. Хлопнул себя по лбу.

— Ах, черт! Я его оставил, очевидно, в ящике стола в редакции. Ну, да я его расскажу тебе на память. Во-первых, форма. Можешь себе представить, — написано оно на бумажке, вырезанной в виде бабочки, понимаешь?!

Беренс глянул на оживившееся лицо Пожидаева, но ничего не сказал.

— Да... Это вот оказывается и есть, по логике сумасшедшего дома, основная причина пожара. Так у него и написано, что де форма моего письма указывает вам, товарищ Пожидаев, способности поджога. Это — воспламеняющиеся бабочки или же еще цветы, какие-то там лиловые с золотом. Злоумышленники — агенты международного капитала. Они-де замыслили что-то ужасное против Советского Союза, но что именно — детективная фантазия Берлоги еще не обнаружила. Ну, дальше брехня относительно какой-то обольстительницы, нечто вроде толстовской Аэлиты, какой-то племянницы концессионера Струка, которая ему подарила цветок, и от цветка-де загорелся дом. Дальше совсем неурядица. Как всякий порядочный сумасшедший, он уверяет меня, что он в полном рассудке. Он там пишет совершенно забавные вещи, вроде того, что только теперь он понял, до какой степени он советский гражданин, что он пишет с колоссальным риском, что, может быть, за пределами сумасшедшего дома уже совершилось свержение советской власти и все советское умерщвлено, и он будет, как Робинзон среди дикарей. Прямо, Михаилу Кольцову в фельетон! Ха-ха-ха! — захохотал Пожидаев веселым баском.

— А ты уверен, что все, что писал тебе этот репортер, есть действительно бред? — глухо спросил Беренс.

Пожидаев быстро взглянул на него, но не мог увидеть лица.

— Это с бабочками-то?.. Не может быть двух мнений, что причина пожаров другая. Испокон века наши российские деревянные города горят и до сих пор горели безо всяких бабочек. Тут всегда красный петух. Старинное средство класовой борьбы в России.

— Но ведь горит весь город... — у Беренса вздрогнул голос.

— Значит, красный петух задуман в широком масштабе!

— А почему он не может вылиться в конкретную форму, о которой пишет Берлога?

— Слушай, Беренс, что это за декадентские выдумки! Не надо выдумывать врагов, которых нету. Международный капитал далеко. Концессионер Струк этот, — ты его не знаешь, — довольно либеральный старикашка, а у нас тут в крае врагов достаточно.

— Насчет врагов ты брось. Если тут бабочками действуют, значит ясно, дело пахнет заграничным, высокой техникой.

— Да что тебе бабочки дались? Ведь это сумасшедшая выдумка!

— Вот нужно еще разобрать, сумасшедшая ли эта выдумка,

— Ну, я теперь вижу, ты опять исходишь из неправильной перспективы, — начал горячиться Пожидаев, — и уцепился за этих бабочек. Помнишь, мы с тобой спорили, даст ли нам международный капитал построить социализм,

Они почувствовали, что соскакивают на привычные рельсы политического спора. У обоих уже вертелись на языке Троцкий, Зиновьев и Каменев. И они оба засмеялись.

— Во всяком случае, — сказал примирительно Беренс, — я считаю, что надо быть предусмотрительным. И можешь надо мной смеяться, а все-таки я на всякий случай готов объявить премию за поимку этих бабочек.

\* \* \*

Ванька Фомичев, молотобоец, форвард футбольной команды, член бюро комсомольской ячейки и кандидат ВКП(б), в голубой майке, которая у ворота расходилась под напором молодецкой загоревшей за лето груди, стоял, положив руки в карманы, и смотрел туда, в сторону города, куда исчез в ленивых клубах пыли блестящий "Фиат" предисполкома.

Рядом, на длинной скамейке, вдоль красной облиявшейся ограды и на земле, обильно усыпанной подсолнечной шелухой, коротают время старички-рабочие. Нескончаемый и ленивый разговор на очередную тему — о пожарах.

Кто-то ласково ударил его по загорелой голове, густо поросшей белесой, выцветшей за лето, щетинкой. Он легко обернулся и схватил кисть тяжелой, но сумевшей быть такой ласковой, руки. С этим человеком, Климом Величко, кузнецом, он в пару работает уже четвертый год.

— И о чем это ты думаешь, чушка?

— Э, дядя Клим! Есть о чем задуматься.

— Да, — дядя Клим прищурился, — дела! Горит наш городишко-то? — Народ смущается.

— Мало ли кто над чем смущается, — неохотно сказал Фомичев. — Надо не смущаться, а всем народом поджигателей этих поймать, да под ноготь!

— Должно-то всем народом, а выйдет ли что? Чем больше народу вора гонит, тем ему легче себя скрыть. А чего же, я не отрицаю, каждый сознательный должен помочь, это ясно. Но только мой совет: если хочешь делать — делай в одиночку. Ну?.. Я тебе подсоблю, еще кого найдем.

— Подсобишь?.. Эх! — Фомичев даже покраснел от удовольствия.

\* \* \*

Андрей Варнавин был приметен среди других веселых и грубоватых заводских ребят, похожих на добродушных молодых псов, совсем особым обликом и фасоном.

Лиловая шелковая, в тонкой поясице перетянутая черным ремешком, косоворотка. Иногда поверх одевал Андрюша черный сюртучок. Широко выются его блестящие с позолотой темные кудри, а лицо слегка румяное и нежное, и эта нежность оттеняет и черные брови, и карие блестящие глаза, и румяные, точно вырисованные, губы. Недаром насмешливо и нежно девушки по всей окраине называют его Адичка и сочиняют о нем зазорные и зазывающие частушки, а ребята говорят, что мать его, видно, спала с армянином, которых много в этом южном краю.

Было время, был Андрей в комсомоле, но его исключили "как балласт и за склонность к хулиганству". И то и другое было правда. На собрания не ходил, и однажды в драке ударил ножом милиционера. Но, вообще говоря, дрался редко, хотя за себя постоять мог. Его уважали именно за фасон, за красоту, за умение поддержать и отстоять свою линию в жизни. Прогулов за ним не было. К работе был способен, — несмотря на молодость, считался первой руки модельщиком. Дружбы почти ни с кем не водил, а последнее время даже перестал вообще бывать с заводскими, и только дядя Клим смутно догадывался, куда исчезает по вечерам этот статный паренек.

Вот и сейчас, возвращаясь к себе в хату, блестящую белизной среди кацапских избушек, дядя Клим, не особенно надеясь, все же заглянул в покосившуюся избенку Варнавина и увидел, что тот уже одет и прифранчен и меряет перед зеркалом новенькую кепку.

— Андрей!

— Почтение Клементию Федоровичу.

— Полетел уже? — спросил дядя Клим,

Андрей ничего не ответил. Спокойно улыбаясь, смотрел он на дядю Клима, и в глубине его глаз дядя Клим видел непроницаемую завесу.

— Ты чего же, Андрей, не был на собрании? — спросил он вдруг.

Андрей поднял удивленное лицо. Никогда дядя Клим таких вопросов не задавал. Поэтому Андрей помолчал, пустил дым из тонких ноздрей своего надменного носа и ответил:

— И без меня политические спецы найдутся.

— Напрасно не был. Доклад стоял насчет пожаров.

— Какое же было разъяснение, кто палит? — спросил Андрей. — Видно ловкие ребятки работают. — Нашим мильтонам не угоняться... Да и верно... того есть. — Он потер большой палец об указательный и средний, словно растирая что-то, и добавил: — Взяточка...

— Вот, Андрей, так жгут, жгут, а потом и до нас доберутся. Подожгут завод, что мы тогда все делать будем? Ну?

— Почему же подожгут? — медленно спросил Варнавин, вынимая папиросу изо рта. — У нас охрана.

— У товарных складов охрана тоже была. А как подожгли! То-то, друг милый! Вот я и говорю, что каждый рабочий должен помогать власти в этом деле. Ну, что ты будешь делать с матерью и сестрой, если, скажем, спалят завод? А что я буду со своими хлопьями, а? То-то, друг милый.

— Да, — сказал Андрей, — дело это поганое. Ему почему-то раньше не приходило в голову, что завод, который является опорой его жизни и жизни его семьи, может быть так же подожжен, как и всякое другое здание. Это было неприятно, но ведь этого еще не случилось, и как он может предупредить это? Чего хочет от него дядя Клим? А дядя Клим, таинственно пригнувшись, тихонько спросил:

— Ну, а как ты мыслишь, кто же это жгет? — И он опять пытливо глянул в лицо Андрея.

— Слушай! — загорячился Клим: — ты думаешь, я не понимаю, где ты по вечерам блудишь? Ведь я тебя со стругалевскими видел. Уж если с ними вожжаешься, то ты можешь очень хорошо проведать, откуда эти пожары. Ведь без Стругалевки не обошлось. Вот ты и поищи маленько.

Он положил руку на плечо Андрея, который, склонив голову, смотрел на блестящие носки своих сапог.

— Я сам молод был, тоже случалось всякое, озоровал, но напрасно ты там гуляешь. Загубить могут... И научить чему. Хотя ведь ты у нас парень — золото с дерьмом. — Он опять хлопнул по плечу,

— Скучно очень, дядя Клим, — сказал вдруг неожиданно громко Андрей, — До того скучаю, до того скучаю! А там ме-

ня бояться, уважают, — сказал он с самодовольством. — А у нас что — сегодня культ, завтра физ, потом полит, потом просвет, очень скучно живем, Клементий Федорович! — Он встал и вытянулся во весь рост. В его глазах точно блистало что-то. — А там, хоть мерзавец на мерзавце, но удалые ребята.

— Удалых и у нас есть достаточно, — недовольно сказал дядя Клим, — возьми хотя бы моего молотобоя, Фомичева Ваньку. Это такой парень, хоть к черту на рога пойдет. Ты его на футболе видел? Ему, брат, не скучно, а очень даже весело, и всем от него весело. И даже мне, дорогой, с ним весело.

— Это кому как, — сказал Андрей, — Он опять притих и внутреннее волнение, секунду назад колыхавшее его, сейчас совсем в нем не чувствовалось. — А мне это довольно-таки скучно.

— Так ты что же, отказываешься? — спросил резко дядя Клим и встал.

— Нет... — с достоинством ответил Андрей, — я от этого не отказываюсь. — Он снял кепи и провел рукой по кудрявым блестящим своим волосам. Я, конечно, сер, и куда уж до такого политика, как Фомичев, — сказал он с неожиданной злостью, — но я согласен. Я тоже... это... как бы чувствую... Он неопределенно указал себе на грудь.

— Вот это так, вот это по-нашему, — сразу подобрел и повеселел дядя Клим, — Вот это значит пошел за. И вот мы, стало быть, с тобой уговариваемся, как ты чего вызнаешь, так мне, а в случае чего драчка какая, то опять меня, я не сдам... могу... А сам шнырь поглубже, да, в случае чего, заведи свисточек, чуть что и свисти милицию.

— Я уж без ихней подмоги, — сказал Андрей, подтягивая спустившиеся сапоги. — Для меня в этом есть большой интерес, Если помру, опять выходит за дело! — Он потрянул кудрями, опять у него в глазах что-то вспыхнуло и снова точно завесила их какая-то завеса.

— Пожелайте мне, Клементий Федорович, клев на уду! — сказал он и ушел, поблескивая новенькими голенищами, высокий и стройный, как молодой тополек. Дядя Клим смотрел ему вслед. Дело его неожиданно увенчалось даже еще большей удачей, чем он ожидал, но это-то его и смущало. Оказывается, он совсем не знает этого парня, который на его глазах рос из черноглазого и тихого мальчишки. "Чудак-человек", — сказал дядя Клим и отправился к клубу рассказать Фомичеву обо всем.

## Глава седьмая

### РЫЖИЙ КОНЬ В ЗЛАТОГОРСКЕ



Георгий НИКИФОРОВ

Ленка Вздох уронила глаза. Она уронила фиолетовой игры глаза и увидела щегольские сапоги Андрея Варнавина. Накрашенные губы сделали излом улыбки. Особым, небрежно ленивым движением отнесла она голову влево, сощурилась очень тонко и хитро:

— Вам чиво, кавалер?..

Румянец на щеках Варнавина загустел и захватил кончики ушей. Ответил он недовольно, чуть-чуть строго:

— Дело есть, вертай в переулок.

Андрей лихо, не без грации, взял под руку Ленку Вздох, увлекая в первый угловатый переулок.

Андрей Варнавин знал здесь любой дом, эти разноцветные ставни, перекошенные окна и блеклые цветы за ними. Пройдя квартала два, озираясь по сторонам, он неожиданно замер за углом хмурого забора, подался головой вперед, близко к лицу спутницы и, волнуясь, выговорил хрипло, вполголоса:

— Узнаешь, что ли, ну?..

Ленка Вздох притворилась удивленной, сделала недоумевающее лицо...

— Не шути, кавалер...

— Так, значит, не признаешь?.. Ах-ха! Что ж, мы и напомнить можем. — И Андрей совсем неслышно шепнул какое-то слово.

— Адичка!.. — выкрикнула Ленка Вздох. — Ах ты, как же ты... Понимаешь, а ведь я подумала... Где же ты пропадал? Вот уж действительно... Целый год не виделась, тут поневоле позабудешь. Ах ты!..

— погоди, погоди, что ты на улице целоваться лезешь, — остановил девицу Варнавин. — Скажи, как Петька Козырь?

— Наше дело что же... мы так это... живем, как говорится, шая-вая. Как ты меня-то поймал? Вот встреча, и не думала...

— Не заговаривай зубы, — оборвал Андрей, — Петька Козырь, говорю, что поделывает?

— А что? — попробовала увернуться Ленка Вздох. — Известное у него дело...

— Да уж... — но Варнавин остановился и махнул рукой, — Ладно, вашей специальностью не интересуюсь. Я по большому делу...

— Насчет чего же?

— Развешивай уши, говорить буду, — насмешливо ответил Андрей, — тут такое дело, у тебя, тетя, сопли тонки... Ну-ну, не обижайся, я ведь так...

Ленка Вздох попыталась высвободить руку. Прислушиваясь к словам Андрея, она хотела угадать, что скрывается за ними, и вдруг одна колкая мысль заметалась, заставила вздрогнуть и отшатнуться в сторону. Она вспомнила о папке в синей обложке, которую принес откуда-то Петька Козырь.

"А ну, если"... — встрепенулась новая мысль, — "Недаром же этот молодчик поймал меня". Ленка Вздох искоса посмотрела на Варнавина. "Агент или нет?" — соображала она.

Андрей Варнавин, казалось, совсем спокойно насвистывал что-то очень веселое, только рука его по-прежнему была твердой и властной.

Улицы и переулки кружили, загибая длинные хвосты; на встречу попадались редкие, печальные тополя; словно брошенные на пути слепцы, они стояли, лопоча поредевшей листвой непонятные и жалкие. По дороге, под ветром, перебежала струйками бархатная пыль. Лакированные сапожки Андрея Варнавина потускнели, но они обнимали крепкие ноги молодого красавца-модельщика, который уверенно шагал теперь к бывшему Стругалевскому дому, и в этот час наплевать ему было на блеск и лоск...

— Вот они, мышинные норки, усмехнулся Варнавин, оглядывая тусклые коридоры дома, куда привела его Ленка Вздох. Усмехнулся, но смешок задержал, ощупывая левой рукой пристегнутый к поясу, под рубахой, финский нож.

Неожиданно Ленка Вздох оскалила мелкие хищные зубы, смело трянула стриженной головой и остановилась перед узкой дверью.

— Пжалте, удалец-молодец, — проговорила она, дробно постучав.

Густо прокуренная комната тяжелым запахом закупоренной бочки ударила в нос.

"Будет клев или не будет?" — мелькнуло в голове Андрея. И смело шагнул он навстречу Петьке Козырю, протянув руку для приветствия.

Не напрасно хвалился Андрей дяде Климу, что его уважают и боятся в Стругалевке.

Петька Козырь и его лохматый друг Шило распялили рты, увидев Варнавина.

— Эх, уважил, приятель, вот уважил!.. — вертелся около Петька Козырь, ощупывая глазами стройную фигуру гостя.

— Будя, будя заливать, черт тебе приятель, — буркнул Андрей, садясь около стола на колченогий стул.

— Ась?.. — ощерился Петька Козырь.

— К черту на рога слазь, — отшутился Варнавин, — гони за бутылкой, угощать буду. Он широким жестом выбросил на стол трешницу.

Когда приятели выпили по первому лафитнику, Варнавин, изобразив обожженной спичкой замысловатый вензель на крышке стола, сказал коротко и внушительно.

— Горим, чуеете?.. Как ты думаешь, отчего бы? Ты парень духовой, ну-ка? — прицелился Варнавин всепонимающими глазами на Петьку Козыря.

— Поджог...

— Ага, — подхватил Андрей. — И злодейской рукой, которая против диктатуры власти....

— Фюю-ю! — безралично свистнул Шило.

— Стой, — привскочил Андрей. — Но если кто эту злодейскую руку пришьет...

— Тому сто червонцев, — не удержалась от насмешки Ленка Вздох. Хи-хи-хи-и...

— Алля!.. — строго остановил Петька Козырь. Варнавин же, взмахнув рукой, решительно объявил:

— Сто червонцев — плюнуть, растереть. Только бы...

Тут он запнулся и, округлив глаза, уставился в окно. На улице гудели неясные голоса, в стеклах переливалось багровое пламя пожара...

Андрей Варнавин не помнил, какой силой вынесло его за дверь. Он бежал вместе с толпой туда, где полыхал пожар.

По склону обрыва, между запыленных и криворылых домишек, бушевал огонь. Явно озорничая, огонь прыгал с крыши на крышу, как молодой ярко-рыжий конь.

Тут же, без промежутка, со страстью и надрывом взре-

вел тревожный гудок табачной фабрики за рекой. Он взмыл густой раздирающей нотой.

Андрей, трясущийся и бледный, почувствовал, что его оторвали от земли, подняли высоко над пожаром.

— Ходу, ходу! — слышался знакомый и несколько сиповатый голос.

Цепкие пальцы Петьки Козыря держали его за рукав.

— Ходу, говорю, ходу, чего ты?!.. — понукал он, и уже до рогой, в темных улицах едва переводя дыхание от быстрой ходьбы, пояснил: — Туда, к богатому дому, там они... Знаю, у меня бумаги...

Варнавин плохо слышал, о чем молол Петька Козырь, он понял только одно: нужно куда-то торопиться, чтобы захватить поджигателей. Он бежал плечо в плечо с Петькой Козырем.

— А ведь подожгут, подожгут наши мастерские, чую, за ними очередь. Эх, поспеть бы только, помать бы...

— Фу-ух, — шумно выдохнул Петька Козырь и, обессиленный, опустился на перевернутую вверх дном лодку. — Погоди, Андрюша, — ласково сказал он, задерживая Варнавину, — погоди, надо немножко... это самое... — Он постучал пальцем по лбу, — сварить, это самое, надобно...

— Да ты покажь только, где они твои "эти самые", — торопил Андрей. — Тут, знаешь, как надо: раз-раз, и не копайся...

— Чего раз-раз, — заурчал Петька Козырь, — с подходцем надо, это тебе не стругалевский обиход. Вот слушай...

И взъерошенный страшным зрелищем пожара, в припадке яростной откровенности, Петька Козырь придушенным голосом, тыча куда-то в темноту рукой, рассказывал Варнавину о том, как ловко удалось выудить папку с пожарами. Он разулся и предъявил доказательство: сложенную в восьмеро и запихнутую в сапог синюю обертку дела № 1057. Само дело, по его словам, хранилось у Ленки в грязном белье. Петька упомянул даже, как ему долго пришлось голодать за последнее время, объяснил, как хочется ему подработать. В заключение он бил себя в грудь и уже клялся Варнавину обыскать все мышинные норки и разыскать поджигателей.

Слепая ночь бросила густые космы в улицы Златогорска, когда двое людей пришли наконец туда, где, словно снеговая гора, оплетенная белой причудливой вязью решеток из металлических стеблей, похожих на загипнотизированных змей, стоял особняк Струка.

Обойдя кругом здания, Варнавин сказал так:

— Вот это замысловато наворочено!..

— Да-а, — согласился Петька Козырь, — да-да, черт его раздери, — повторил он еще раз и хлопнул ладонью по стеблям ограды.

Тихо... В особняке никакого признака жизни. И не разберешь, что это — дом или нелепой формы, невиданных размеров белый катафалк?

Пришибленные домики вокруг — мелкие серые пятна, едва различимые в темноте, они как будто выдвигали, подчеркивали своим убожеством глыбы башен и углов особняка...

Еще раз обошли вокруг здания.

— Хм, — произнес Андрей Варнавин, — может, тут нет никого, а мы шастаем, черт носит. Что-то мне кажется...

Варнавин шмыгнул носом, и с недоверием покосился в сторону Петьки Козыря.

— Кажется мне, — повторил он, — не заводилка ли тут какая, а?

Петька Козырь поймал рукой какое-то кольцо в ограде и, напрягая все силы, старался повернуть его.

— Погоди, — сказал он, когда к нему приблизился Варнавин, — зацепил, друг, мы его сейчас... Давай, помогай.

Они тянули кольцо вниз и в стороны, Петька Козырь повис всей тяжестью тела, кольцо ни с места.

— Караул! — вдруг дико завопил позади него Петька Козырь.

— А-а-а-у! — подхватил Варнавин и, ударившись плечом о стену, отлетел в сторону.

Оглушенным ударами, им кто-то крутил руки за спину. Андрей рванулся изо всех сил, но застрял, чувствуя ожог кровавой царапины через всю руку. Улица оживала, подхлестнутая свистками и выстрелами.

— А-а-а, голуби, наконец-то! — услышал Андрей торжествующие возгласы и, с усилием обернувшись, увидел себя и Петьку Козыря в руках дюжих милиционеров.

\* \* \*

В Стругалевке выгорело два квартала. Утомленные пожарные заливали дымящиеся головни. Огонь вылизал все дочиста. Жители, захваченные пожаром во время сна, едва успели выскочить. Они теперь расположились по берегу реки и, со-

бираясь группами, передавали друг другу тревожные слухи.

— У Карп Иваныча старуха сгорела, и сам в одной только рубахе остался...

— Чего там у Карп Иваныча, ты посчитай теперь, сколько народу погибло!

— И скажи, пожалуйста, — подхватил женский голос, — откуда напасть эта? Прямо с неба огонь падает! Вот уж бог наказание посылает...

— С языка у тебя огонь падает, — сердито заметил прокоптелый старик. — Поменьше бы вина жрали...

Но говорившая женщина на старика даже бровью не повела, она кинулась в сторону другой группы погорельцев и вскоре принесла известие о том, что поджигателей поймали на той стороне города.

Широко поднялось утро. Солнце копошилось в легком тумане реки, когда появилась толпа рабочих во главе с кузнецом Климом Величко, направляясь в губисполком,

— Вот они, идут, идут, ведут... поджигателей этих...

— Кого ведут? Что вы, черти!..

В кольце милиционеров, навстречу рабочим, шагали Петька Козырь и Андрей Варнавин.

Рукав кузнеца дергала плачущая старушка, мать Андрея.

— И чего ты раньше времени душу слезьми мочишь? — угроваривал ее дядя Клим. Никогда я не поверю, чтобы Андрюха втихомолку сгиб.

Они говорили, а сухое небо дышало радостью жизни, из осенних степей бежал ветерок, игриво ласковый и ароматный.

## Глава восьмая

### РАЗГОВОР В ОТЕЛЕ "БЕЛЬВЮ"



*Владимир ЛИДИН*

В этот год необычайными днями пролилась над городом осень. Золотые россыпи света баюкали его осеннюю тишину, и фламандским изобилием — рыже и изумрудно — был он засыпан фруктами и цветами.

Уже начался обратный слет с юга на север, в скорых поездах коричневела все чаще нежная смуглость женских и девичьих лиц, а навстречу в осенние отпуска на минеральные воды ехали мужчины с катарами, почками, диабетом и последствиями сентиментальных увлечений.

Тридцать два дня, круглый и лучший месяц, прошли с того часа, когда ужас неотразимо и ватно всосал Берлогу. Что произошло с ним за этот месяц, чей таинственный шахматный ход произвел зловещую рокировку с ним, — неслыханные эти вопросы, бушевавшие в голове репортера, раздирали его в клочки. А может быть, в самом деле, он болен непоправимо и страшно, и зловещие галлюцинации претворил для себя он в действительность?

Забеленное наполовину окно выходило в сад. В саду огромными кронами подпирали осеннее небо тополя, отвратительные кислые запахи неопрятного человечества, запрятанного в этот же дом — гениальных фельдмаршалов, непризнанных вождей и кротких вдохновенных маниаков — запах их мочи, царственно пускаемой под себя, часы обеда, прогулок и чая — вот что озарило для Берлоги этот месяц его одиночества. Впрочем, на прогулке однажды увидел он Ивана Кулакова: Иван Кулаков переживал тишину в себе. Дни его озарения кончались, безрадостный сумрак иссушал его своей тенью. Он сидел на скамейке и безучастно смотрел на осеннее, полное ползучих и смиренных облаков небо. Берлога подсел к нему. Иван Кулаков его не узнал; однако минуту спустя, сказал он с огромным и мучительным вздохом:

— Незнакомый друг, я погибаю... Человек, которому я мешал, совершил надо мною чудовищное преступление... Я мешал его замыслам, я хотел разоблачить сеть его преступлений, у меня в руках были данные. Он хотел свой опыт испробовать на фабрике Кулаковых, поджечь ее так же, как и десятки других, — и вот он меня погубил... Знаете вы, кто он?

— Кто? Кто? — спросил Берлога и впился концами пальцев в скамейку. Он почти не дышал в этот миг.

— Мошенник, — сказал вдруг Иван Кулаков очень презрительно, — приезжий мошенник... катись себе дальше! Кулак Иванов знает, для чего он призван на землю... для водворения рая, он — Адам.

И Иван Кулаков, смиренно и содрогнувшись от грусти, сел на скамью, Его запавшие глаза очень черно посмотрели Берлоге в лицо: они тосковали.

— Как его имя? — Берлога спросил, чувствуя, что от одного лишь ответа, короткого, как дыхание, зависит его судьба и таинственный ход многих и чрезвычайных дел, но Иван Кулаков тосковал, — он подпер рукой свою многодумную голову и тосковал так люто, что не слышал вопроса. Берлога потер рукой щеку и лоб; пот сочился по его лицу. Короткое слово погребло несказанным. И в этот день почувствовал Берлога еще, что сам погиб, как это несказанное слово Ивана Кулакова. Здесь не верят рассудку и доказательствам. Холодная спираль науки наматывает на себя живую нить больной человеческой воли и вдохновенных мечтаний. Кто придет, чтобы помочь и спасти?! И помощь пришла неожиданно, именно в ту минуту, когда все казалось потерянным и до конца безнадежным.

В один из таких же осенних и благодатных дней со скорым московским поездом приехал в город человек, которого по достоинству оценили носильщики на вокзале, бросившись табуном добывать его чемоданы. Однако в синем купе международного вагона в сетке лежал одинокий ручной саквояж в парусиновом аккуратном чехле, несколько смятых московских газет и пустая коробка из-под печенья; в купе хорошо пахло табаком, и пепел лежал повсюду. Приехавший спокойно оберегал купе от нашествия, дождался, пока носильщики, как бы разбившись о мол, отхлынули, взял саквояж и желтый портфель на ручке и не спеша вышел из вагона на вокзальный перрон.

Извозчий фаэтон был мягок и вместителен, как турецкий диван, и пара лошадок, весело звякая сбруей, лихо понесла приезжего в город. Двадцать минут спустя, горластый нахичеванец-кучер осадил лошадок возле лучшей гостиницы, сохранившей довоенную фирму "Бельвию".

Из-под лестницы вылез малый в ливрее с серебряными галунами, больше похожий на певчего духовной капеллы, — в гостинице соблюдали европейский шик. Хозяин гостиницы Аветик Тер-Погасянц сочетал восточную широту гостеприимства с европейским достоинством. Приезжего оценили сразу, несмотря на отсутствие чемоданов, и предоставили ему номер двадцать четвертый, недорогой, но вполне культурный,

с телефоном и абсолютно без клопов. Назвался приезжий инженером Кукуверовым. Но не только звание и фамилия ведь определяют людей, нет. Аветик Тер-Погасянц был человек невероятных прозрений, знаток человеческих душ, и поэтому к приезжему не был допущен ни один честный маклер, предлагавший обыкновенно довоенные удовольствия, вроде игры в шменде-фер или прелестных девочек, прекрасных и княжеских даже фамилий, к тому же "безусловно невинных".

Приезжий занял номер двадцать четвертый, и коридорный, считавший своей обязанностью прислушиваться ко всему происходящему в номерах, чтобы никогда не отставать от событий, слышал, как Кукуверов многократно вызывал телефонную станцию и требовал соединений. Он по нескольку раз по долгу отлучался в город, обедал в ресторане при гостинице, ночь провел благополучно, потребовав себе в номер только крепкого чая. На другой день в половине девятого вечера, на фаэтоне к отелю "Бельвию" подъехали два человека. У одного из них был страшный и измученный вид, болезненно отросшая борода и бледность увядших по-тюремному щек; он был одет в казенное какое-то одеяние холщевого вида, и сопровождал его человек очень флегматичный и как-то профессионально сидевший с ним рядом, словно только в своей жизни и делал, что сопровождал людей. Приехавшие спросили Кукуверова и стали подниматься по лестнице, причем сопровождавший шел несколько позади. Впрочем, минуту спустя стал он не нужен, потому что гражданин Кукуверов предложил ему посидеть часок-другой в швейцарской или сходить в соседнюю пивную, но только не напиваться и вернуться за спутником часам к десяти.

И доставленный остался в номере двадцать четвертом у Кукуверова. Чутько дико, обхватив себя плотно руками, он глядел на спокойного человека в отличном сером костюме; человек пошагал из угла в угол и сказал ему наконец:

— Послушайте, товарищ Берлога.... постарайтесь отнестись ко мне с самой большой простотой и вниманием, хотя, вероятно, вы изнемогли от ваших мучений. Дело в том, что я приехал бороться с многочисленными преступлениями в этом городе, преступлениями, весьма однообразными по приемам и по непосредственным источникам их происхождения, чрезвычайно загадочными по их цели.

С томлением и ужасом смотрел Берлога, доставленный

сюда из больницы в сопровождении служителя, на нового человека, приехавшего сюда продолжать его мучительный сон. Но Куковеров сказал очень просто и дружелюбно:

— Я хочу сказать, прежде всего, что считаю вас абсолютно невиновным и непричастным ко всему этому делу, а также совершенно здоровым... Я убежден в том, что вы заключены в лечебницу не в силу ваших объективных дефектов, а по злой преступной воле, ибо на свободе вы могли помешать делу тайного центра. Вы, видно, что-нибудь знали, Берлога, но это было бы еще полбеды, если бы вы не обладали некоторыми особенностями, свойственными зачастую вашей профессии. Я понимаю болтливость, сенсационность и склонность к преувеличениям. Не обижайтесь, пожалуйста, но это так. Теперь начнем с самого существенного. Я завтра же добьюсь распоряжения о вашем освобождении. Вы будете моей правой рукой при распутывании нити этого преступления.

Берлога поднялся. Неверящими, тоскующими глазами смотрел он теперь на этого человека, вспомнившего о нем в той пустыне, где он считал себя уже затерянным навсегда.

— Вы сказали мне правду? — Он проговорил наконец, лоямая свои исхудавшие пальцы. — Я буду свободен?!

— Абсолютно. С завтрашнего дня, как только будут проделаны все формальности. Вы мне нужны, Берлога. Я осведомлен о вашей деятельности до конца, и кое-что в тех шагах, которые предприняли вы, считаю вполне разумным и важным, если бы только не ваше легкомыслие и склонность к гиперболам. Но начнем по порядку. Постарайтесь вслушаться в то, что я вам скажу, и постарайтесь также ответить на все мои вопросы с возможной точностью.

— У меня очень ослабела память, — пробормотал Берлога, — Я уверен, что вы не хотели мне зла, но больница отняла у меня, по крайней мере, пять лет моей жизни.

— Пустяки. Мы предоставим вам место на лучшем курорте, как только вы перестанете быть мне нужным здесь, под рукой. Скажите, Берлога, кто это такая?

Инженер вынул из желтого портфеля номер журнала и, прикрыв рукой подпись, показал репортеру портрет:

— Элита Струк!

Берлога свистел дыханием через раскрытые губы и впивался глазами в изогнутые луком губы, в тонкие, тронутые карандашом брови, в расширенные, сияющие, насмешливые глаза, в подстриженный ворох золотых волос.

— Вы ошибаетесь. — Инженер отнял руку: — согласно подписи под снимком, вы имеете перед собой киноактрису Дину Каменецкую. В отделе "Что нам готовят" того же журнала мы находим четыре строчки: "Д.Каменецкая снимается в Златогорске в картине "Американские хищники", съемки продлятся до января". На самом же деле — сегодня двадцать третье октября, а Дина Каменецкая исчезла из города.

Берлога растерянно молчал минуту. Холодная капля вдруг защекотала висок.

— Исчезла? — спросил он и не смог продолжать.

Куковеров спокойно закурил папироску,

— Следы Дины Каменецкой теряются на станции Армавир. У нас имеется письмо от нее к подруге в Москву, где она пишет, что уезжает на съемку в Баку. В Баку ее нет, и никакой съемки там не происходит. Подождите, Берлога, переживать. У меня есть к вам вопрос посущественней. Скажите, пожалуйста, знакомо ли вам это?

Куковеров открыл свой портфель и достал смятую синюю бумажку, На бумаге, на синей обложке была знакомая до боли и ужаса надпись: "Дело № 1057",

— Дело о поджогах, мое дело! — завопил Берлога и выхватил бумагу из рук Куковерова. — Мое пропавшее дело!..

Это была обложка, одна измятая и пустая, засаленная обложка, дело № 1057 без сердцевины. Как пустой рукав у инвалида, потерявшего руку!

Он успел спросить, потухая: — Что это значит?

— Это значит, что дело исчезло и осталась одна обложка, — сказал Куковеров яростно. — Одна обложка. Берлога! Я расскажу вам, как нам досталось хотя бы это, пусть ничего, но все-таки след. 8 октября, при облаве, в связи с пожарами, был задержан некий вор-рецидивист, известный под кличкой Петька Козырь. При обыске у него обнаружили в сапоге подстилку, именно эту обложку "дела № 1057", подложенную, как он объяснил, для тепла, ибо у него дырявый сапог, Сапог оказался в действительности дырявым, и этой пустой бумажке не придали бы никакого значения, но одновременно задержанный некий субъект, по имени Андрей Варнавин, показал, что у Козыря где-то спрятано важное дело о поджогах в Златогорске за № 1057. Петька Козырь сначала категорически отрицал и объяснял, что достал обложку в урне для мусора. Потом он сознался, что похитил это дело у вас по заказу некоего

молодого человека, приказавшего доставить папку в новый большой дом концессионера Струка. Дальше ничего понять нельзя, ибо в доме Струка нет никаких молодых людей. Элита — Дина Каменецкая-Струк исчезла, в бегах находится сожительница Козыря Ленка Вздох, а вы, как вам хорошо известно, — в сумасшедшем доме!

С каким-то безумием, судорожно стараясь сомкнуть все эти ускользавшие звенья, Берлога смотрел на человека, который приехал возвратит его к жизни и так сокрушительно по-первоначалу его потряс. Все ли в порядке в его, Берлоги, мозговых извилинах, все ли проверил он в себе до конца? Может быть, на самом деле, его место там, в доме для фельдмаршалов и маниаков, рядом с Иваном Кулаковым? И вдруг Иван Кулаков, его минутное прозрень в саду, последнее слово, занесенное безумной метелью, одно только слово, которое могло бы раскрыть сердцевину этого пропавшего дела, — все это глубоко и проникновенно прояснилось в нем до конца.

— Иван Кулаков, — сказал он, — вот единственный человек, который может все обнаружить, маниак и безумец, владелец несуществующих замков, — он, только он!..

Приблизив лицо к Куковерову, словно излучая слова, он рассказал ему все об Иване Кулакове. Куковеров слушал, правая его рука между тем торопливо заносила в блокнот все, что говорил ему репортер. А южная ночь за окном верещала звонками трамваев, она нацеживала в окно полные осенние дуновения, и легкий ветерок облегчительно охлаждал лоб репортера. Наконец он кончил.

— Теперь возвращайтесь, Берлога, обратно, — сказал Куковеров, — Завтра утром я буду у вас и проделаю все формальности, необходимые для освобождения. Вы вернетесь к газетной работе только по окончании этого дела. До этого момента я оплачиваю вам ваш месячный заработок. Откуда и кто я, кроме того, что я инженер Куковеров — вы узнаете вскоре.

— Я сделаю все, что вам понадобится от меня, — сказал Берлога искренне.

Они пожали руки друг друга. Служитель больницы, изрядно насладившись в пивной, дожидаясь внизу. И тот же фаэтон повез его и Берлогу обратно. Куковеров вышел на балкон и смотрел, как сели они в экипаж.

## Глава девятая

### НА БИРЖУ

### ТРУДА!



Исаак БАБЕЛЬ

Куковеров приехал в Златогорск двадцать второго августа. Двадцать пятого, в восемь часов вечера, он стучался у ограды особняка Струка. Ограда эта, как известно, напоминала сплетение лиан в тропическом лесу или сцепившихся хвостами окаменевших загнипнотизированных змей. При ближайшем рассмотрении она оказалась решеткой из деревянных прутьев, окрашенных серебристой краской. Куковеров со страхом ждал мгновения, когда стебли ограды — лианы и змеи — зашевелились и раздвинутся. После этого, то есть после того, как загнипнотизированные змеи раздвинутся, в ограде должен, как известно, образоваться проход или, вернее, аллея, заканчивающаяся автоматической дверью без всяких дверных ручек, но из орехового дерева. Дверь эта в свою очередь заканчивалась в пылком представлении Берлоги ущельем, облицованным никому не известным синим камнем с красными прожилками. Но вместо облицованного ущелья перед Куковеровым вырос затейливо расчесанный парень в бумазейной рубашке навыпуск и в больших скрипучих, казенного образца, сапогах. На протянутой руке парня болтался, как на штанге, пиджак. В другой руке он держал пузырек с бензином. Парень, очевидно, выводил бензином пятна на пиджаке. В этом не могло быть никакого сомнения.

— Что надо? — сказал парень.

— Гражданин, — торжественно произнес Куковеров, — сегодня в 6 часов 9 минут я отправил мистеру Струку телеграмму-молнию. В этой молнии содержался вопрос — может ли мистер Струк принять меня в восемь часов?

— Они, кажись, в кухмистерскую выходили, — сказал парень, плюнул на пиджак и затер плевком тряпочкой, смоченной в бензине, — а может, и дома... Заскочите на лестницу, повернетесь вправо, потом возьмете прямо, все прямо...

Дверь открылась, и Куковеров вступил в вестибюль, Здесь, как известно, высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью, лестница.

— Голубчик, да ведь она сама едет... — сказал инженер со страхом.

Но парень вместо ответа с жадностью посмотрел на папиросу, которую закурил Куковеров,

— А не накажу ли я вас на одну папиросочку, гражданин, — пробормотал он, и, получив папиросу, пустил дым изо рта, из ноздрей и вроде как бы из глаз...

— Еще третьего дня ездила, — сказал он, увенчиваясь дымом где-то возле ушей, — да вчерась сдохла... Полотер в нее упал, она и прикончилась... Теперь не ездит, да и хозяин приказывал, чтобы стояла. Пускай, говорит, самосильно стоит, я теперь, говорит, жене полотера обязан соцстрах платить, и союз меня по судам затаскает, я, говорит, в свои года взошел, мне обидно полотерке платить, меня, говорит, таким манером из денег враз вытрясут...

Парень оказался отменным словоохотливым курильщиком. Куковеров едва спасся от него, взбежав по лестнице, неутомимо сиявшей медными частями, пробежал коридор, уставленный разбитыми кадками из-под субтропических растений, и влетел в круглый зал, имевший, как известно, три сажени в поперечнике. Это был тот самый зал, в центре которого пенился некогда и прихотливо играл струями маленький фонтан. На этот раз он был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну, Неподалеку, за ломберным столиком сидела морщинистая старуха в пышном бархатном облачении. Морщины ее были запудрены лиловой пудрой, а волосы выкрашены фиолетовой краской.

— Могу ли я, сударыня, — с достоинством начал Куковеров, но старуха прервала его и с улыбкой, полной величия и покая, протянула ему анкету, написанную по-французски.

— Сначала заполните анкету, — сказала она тоже по-французски, — цель прихода, подписку о неимении фотографического аппарата и о неразглашении тайны...

— Ко всем свиньям, — раздался тогда за спиной Куковерова мелкий, неразборчивый, обиженный тенорок, — вы опять крутите людям голову с этими анкетами?..

Инженер обернулся. Перед ним стоял бритый старик в хорошем костюме, с рыхлым животом и большим носом.

— Меня здесь черти хватают, — закричал старик с укоризной, собрал рот в горькие детские складки и едва не заплакал, — а вы торчите с Доннером целый месяц в Москве... Меня здесь черти хватают, — прокричал старик и опять едва не заплакал.

— Мистер Доннер задержался, — сказал озадаченный Куковеров и поклонился, — он все хлопочет в Главконцесском.

— Главконцесском, Главконцесском... — пробормотал Струк, прослезился и погрозил вдруг кулаком фиолетовой старухе, — ко всем свиньям, княгиня, — прохрипел он плачущим своим тенором, — вы мне жизнь сократили, — и побежал в свою комнату. Он семенил большими, старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день.

\* \* \*

Три часа длилась беседа Куковерова с миллионером. Через три часа он вышел из кабинета — секретарем мистера Струка. Дело в том, что инженер привез с собою рекомендацию от Доннера, председателя русско-американской торговой палаты. За эти три часа Куковеров узнал, что Струк происходит из мещан г.Белостока, Гродненской губ., состояние свое нажил в Америке на военных поставках и получил в концессию пока только пуговичную фабрику в Москве. Что же касается Алтая, то он ничего об Алтае не знает, и интересуется исключительно тракторным заводом в средней полосе Союза. Тракторы — это вам не пуговицы! Смеется советская власть над людьми, или не смеется? Пуговицы — это вам не тракторы! Еще узнал Куковеров, что Бахметьев, бывший царский посол в Америке, составил несчастье жизни мистера Струка. Старик имел неосторожность перед отъездом в СССР рассказать Бахметьеву о своих планах. Бывший посол посоветовал ему взять в управляющие бывшего барона Менгдена, в секретарши бывшую княгиню Абамелек-Лазареву и в архитекторы бывшего военного инженера генерала Духовского. И вот, бывший военный инженер, который, оказывается, был безработным с октября 1917 года по май 1925 г. и за это время не видел в глаза монеты крупнее десяти рублей, получив на постройку двести пятьдесят тысяч рублей, быстро выстроил на эти деньги фонтан с загнипнотизированными змеями и самодвижущуюся лестницу, — что "меня черти хватают, когда я вижу этот особняк, я поседел от него"...

Бывшая же княгиня Абамелек-Лазарева, почувствовав себя обладательницей ломберного столика и телефона, немедленно облачилась в старинный бархат, выкрасилась в лиловый и фиолетовый цвета и заказала анкеты на французском языке. Что же касается управителя, бывшего барона, то он с возложенными на него поручениями справился следующим образом: в качестве "личной секретарши" он привел к Струку из киностудии Дину Каменецкую. Девица эта, получив на первое обзаведение 25 червонцев, прозвала себя Элитой, купила туфли металлического цвета и шоферский костюм, вытравив себе персидской какой-то мазью волосы на всем теле, за исключением головы, объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием — сладострастием неуголения... "В мои годы, в мои больные годы!" Внезапно Дина уехала в Армавир сниматься в драме-утопии, действие которой происходит в 2000 году в стране чудовищно индустриализованной.

Таков был первый шаг бывшего барона, второй же его шаг был связан с пустяковой одной историей о пустяковой одной бумажке... В Америке такая бумажка стоит 25 рублей — и концы в воду, но бывший барон... — о, горе, о горе!..

И поэтому, "my dear Куковеров, наймите мне людей на Бирже труда, людей, которые, начиная с октября 1917 года, ни одной минуты не были безработными, ни одной минуты"...

\* \* \*

Восемь да три будет одиннадцать. Это скучно, конечно, что не двенадцать, но и число одиннадцать удовлетворяет совершенно. Поэтому ровно в одиннадцать Куковеров распрощался со Струком и быстро зашагал по направлению к гостинице. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке, потому что Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания, фруктовые же его лавки завешаны всегда виноградом и дышат диким волнующим запахом овощей. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего, ровно ничего.

## Глава десятая

### ТРЕВОЖНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ



Феоктист БЕРЕЗОВСКИЙ

То ли это была старая привычка, то ли от отца унаследовал Пантелеймон Иваныч, Кулаков сам никогда не мог толком разобраться. Кутил неделю, иной раз пропадал из дому недели на две, а затем на несколько дней захватывало покаянное настроение, клещами впивалась в грудь тревога, терзала тоска.

Так случилось и в последний раз. После получения телеграммы брата Ивана наскоро уладил в Москве дела фирмы, вернулся в Златогорск, устроил Сонечке скандал и на две недели закутил. Сначала носился на автомобиле с Элитой Струк по загородным притонам; а после ее отъезда из города, кутил с приятелями в ресторанах, в пивнушках и на дачах — в обществе артисток, цыган и проституток. Отсыпался в номерах и у холостых друзей.

А теперь вот третий день бродил по своей квартире — в туфлях и в шелковом туркестанском халате с бело-зелеными полосками, тяжело вздыхал, шевелил побелевшими тонкими губами и время от времени крестился.

История Сонечки с Прейтманом оказалась измышлением больной фантазии брата Ивана, который не без содействия Пантелеймона Иваныча попал в сумасшедший дом, Пантелеймон Иваныч прекрасно понимал, что Сонечка сколь ни пофыркает, а простит его, и жизнь войдет опять в старую, наезженную колею. Немножко тревожила крупная недоимка по налогам. Но ведь мистер Струк хвастался новым секретарем, который "все может". Пантелеймон Иваныч тосковал и тревожился. Мучился непонятными предчувствиями. Ждал какой-то беды.

Вспомнил покойного отца — старого кряжистого сибиряка, который пил "мертвую" по месяцу; а потом вставал с похмелья, как ни в чем не бывало, осушал жбан огуречного рассола, часа четыре парился в бане и прямо с полка раза три

бултыхался в снег. И с новой силой, без всяких терзаний, ворочал миллионными делами.

Пантелеймон Иваныч остановился перед маленькой иконкой в серебряной оправе, висевшей в переднем углу столовой, уставленной дубовой мебелью, перекрестил свое розовое и морщинистое лицо и громко, со вздохом, сказал:

— Помяни, Господи, во царствии небесном... раба твоего Ивана... не зачти ему...

За дверью послышались шаги. Пантелеймон Иванович сорвался с пола и, узнав по стуку каблучков жену, приготовил ласковую улыбку. Но Сонечка перестала уже сердиться. Раздвинув тонкими и длинными руками портьеры, она шагнула в кабинет и, остановившись около шведской конторки, деловито сказала:

— К тебе какая-то женщина... фамилии не говорит... Скажите, говорит, просто Елена... по делу, касающемуся Пантелеймона Ивановича и мистэра Струка...

Кулаков вздрогнул. Опустил глаза. Хмурясь и пошевеливая прыгающими пальцами пепельную бородку, пробормотал:

— Пусть Маша скажет: нету меня... после, мол, будет... в другой раз.

Сонечка стояла около двери (словно большая жердь, на которую накинули розовый шелковый балахон, похожий на греческую тунику), стояла и чего-то еще ждала.

Пантелеймон Иваныч понял, что неприязнь к нему у жены прошла. И раздраженно крикнул:

— Ну... скажи там... как-нибудь!.. Не могу я... не принимаю я... поняла?.. Пусть под вечер придет...

Сонечка смерила серыми глазами полосатую фигуру мужа, на момент остановила взгляд на его розовом лице с морщинами и мешками и, круто повернувшись, молча вышла из кабинета.

А Пантелеймон Иваныч зашлепал туфлями из кабинета в коридор, оттуда в голубую гостиную. Шел и ворчал про себя:

— Мистир Струк, мистир Струк... дерьмо собачье... Стал бы я с тобой дружить... кабы не мильены твои американские...

Остановился перед репсовым диваном и, подавляя опять нахлынувшую тревогу, вздохнул:

— О господи... кто не грешен... прости... владыко много-милостивый!.. Тоже — политика...

Плюхнулся на голубой репс, И долго сидел, подавляя тре-

вогу и раздумывая о большом и сложном деле — об Алтае и о Струковских концессиях.

Надвигался вечер.

Через гостиную прошла Валентина Петровна.

Охваченный тоской, тревожными предчувствиями и страхом, Кулаков сиповато крикнул ей вслед:

— Валентина... пошли-ка Сонятку мне...

Минуты тянулись долго и томительно жутко.

Наконец послышался дробный стук каблучков. В гостиную вошла гордо-прямая и плоская, как доска, Сонечка и спросила:

— Ну?.. Что?..

— "Ну што", — сердито передразнил ее Пантелеймон Иваныч, окончательно убедившийся в примирении жены. — Накрывать надо... на стол-то... Фома Струков, гляди, нагрянет...

— Успеем, не твоя забота, — также сердито отрезала Сонечка. — Мистэр Струк не чужой человек...

Он посмотрел на окна, в которые ползли фиолетовые южные сумерки, и тем же сердито-деловым и хриплым от перепоя голосом приказал:

— Оборудовай там... балычку... нежинских огурчиков... грибков... Добудь там у меня... в кабинете... знаешь?.. Бутылочку коньяку... французскова...

Сонечка удивленно подняла накрашенные брови:

— Да ведь мистэр Струк не пьет...

— Ну и черт с ним... пусть не пьет... я сам выпью...

Сухое лошадиное лицо Сонечки мгновенно так побледнело, что из-под пудры выступили веснушки.

— Опять?!..

Пантелеймон Иваныч прятал от жены глаза, захлопывал полы полосатого халата и успокаивающе бормотал:

— Не скули... для покою выпью... не обожрюсь рюмкой-то.

Помолчал. И, не оборачиваясь, спросил жену:

— Как Иван-то... не слыхала?

— Профессор сказал, что прогрессивный паралич, — ответила Сонечка. — А доктор говорит, что у него психоз... который может пройти...

Пантелеймон Иваныч оторвался от окна и, ругаясь, забежал по гостиной:

— Прикидывается дурачком, сволочь!.. Подлецам и образованье не впрок... Мы с тятенькой капиталы наживали...

в люди его, мерзавца, выводили... а он... на-кось!.. Весь, говорит, свой класс буду избобличать...

В этот момент где-то около дома зафыркал автомобиль. А из передней прилетела трель электрического звонка.

Сонечка метнулась из гостиной в коридор и понеслась дальше, в переднюю.

Слышно было, что из кухни туда же бежит прислуга.

Пантелеймона Иваныча охватил необъяснимый страх.

Дрожащими руками он захлопывал то одну, то другую полу халата, стучал зубами, смотрел круглыми глазами на дверь, через которую должна была войти в дом катастрофа.

Но вместо беды и катастрофы, в передней весело загудел низкий, вибрирующий голос Сонечки:

— Пантелеймон!.. Пончик!.. Встречай дорогого гостя... Мистер Струк приехал...

\* \* \*

Дом, в котором жили Кулаковы, стоял на косогоре, из столовой виден был весь центр города, казавшийся теперь огромной сковородой, по которой рассыпаны были добела раскаленные уголья.

Давно покончены были деловые разговоры. Давно Пантелеймон Иваныч и мистер Струк перешли из кабинета в столовую и, болтая с дамами, уничтожали обильную снедь, запивая кто чем мог: Струк — кофеем, Сонечка — мадерой, а Валентина Петровна и Пантелеймон Иваныч контрабандным французским коньяком.

Пантелеймон Иваныч сидел принарядившийся — на нем была крахмальная сорочка и черный костюм. Он опрокинул уже третью рюмку. Но чувствовал, что все попусту. Тоска, тревога и какое-то странно-тяжелое предчувствие не покидали его.

— Н-да-а... краля она у тебя. Я т-те да-а-ам! Имя-то, имя-то какое, шельма! С похмелья не выговоришь... ей-бо!...

Он повернулся к жене.

— Как бишь ее, Сонятка... ну-ка выговори... Ну-ка?!..

Сонечка подставляла старику Струку кофе и простые сухари, без которых он не садился за стол и, жеманясь, говорила низким грудным голосом:

— Ну, что тут особенного... имя как имя... Элит — прекрасное и звучное имя...

— Не болтай, — деловито остановил его Струк, похрустывая сухарями и прихлебывая из чашки кофе. — Люди могут подумать про меня, старика, бог знает что. Ведь это моя, по документам, внучка.

Сонечка и Валентина Петровна многозначительно переглянулись и друг другу улыбнулись.

А Пантелеймон Иваныч, прислушиваясь к звукам нараставшего из-за окна пения, продолжал:

— Нет, ей-бо, Фома... выбор твой я одобряю... девка — огонь!.. Ежели дальше будет так работать она... да выгорит дело в Москве, загремим мы не то што по есесерии... по всему миру заголосят об нас...

Пантелеймон Иваныч понизил хриплый голос:

— А как твой новый секретарь? Этот самый Куковеров?

— Работает прекрасно.

Пантелеймон Иваныч покрутил головой: — Ох, Фома!.. Не мне тебя, старика, учить... Оба вы с покойным моим тенькой учены были хорошо... А все ж таки, гляди в оба!.. Дошлая порода большевицкая... Сквозь всю землю неприметно проходит... не то што в душу человечью...

Голос Кулакова дрогнул и оборвался. В столовой стало тихо.

Мистер Струк переводил взгляд глубоко сидевших стеклянных глаз то на Кулакова, то на дам; видел на их лицах испуг и тревогу и не мог понять, в чем дело.

У Сонечки опять веснушки выступили из-под пудры. Валентина Петровна хрустела ломающимися пальцами. А у Пантелеймона Иваныча на розовой лысине выступили капельки пота, посинело лицо и стали круглыми глаза.

— Что такое, господа? — растерянно спрашивал мистер Струк. — В чем дело?

Но ему никто не ответил.

Точно по команде, все кинулись к окнам и, упираясь руками о подоконники, смотрели со второго этажа вниз, в тьму улицы, по которой двигалась тысячная толпа рабочих.

Ночная тьма, пропитанная удушливой прелью опавших листьев и осенним запахом спелых овощей и фруктов, разрывалась ревом сотен крепких глоток:

Сме-ло-о-о мы в бой пой-де-е-ем  
За власть со-ве-то-ов  
И ка-ак один ум-ре-о-ом  
В борь-бе-е за э-то-о...

Черная громада с колеблющимся знаменем быстро двигалась мимо кулаковских окон, дробно отбивая шаг. Казалось, что люди не сапогами выстукивают мостовую, а дробят густыми залпами из винтовок.

Склонившийся над подоконником Пантелеймон Иванович чувствовал, что его трясет лютая лихорадка.

— Вот оно... началось!.. Рабочие... с нашей фабрики... железнодорожники... стругалевцы... все!.. Сволочи!.. Поднимутся ватагой... рухнут все планы... все пропадет... все...

Когда поющая толпа прогромыхла мимо и стала удаляться, спускаясь к центру города, в опустевшую улицу из-за угла мелькнула черная тень женщины в коротенькой юбочке, в пальто, отороченном мехом, в шляпке и с зонтиком в руках. Она прыгнула на парадное кулаковского дома и скрылась в темном коридоре. Вверху остановилась перед квартирой Кулаковых и быстро принялась давить кнопку электрического звонка.

Из-за двери домработница Маша спросила:

— Кто здесь?

— Это я, — ответила Ленка Вздох. — Я, Елена...

— А-я, — протянула Маша и щелкнула затвором.

Распахнув дверь, Маша пропустила вперед себя Ленку, приговаривая:

— Пожалте... дома они... велели принять... Мириконец тоже здесь...

## Глава одиннадцатая

### ДВОЙНИК КУКОВЕРОВА



А. ЗОРИЧ

Когда в четыре инженер Куковеров шел от Струка к себе в гостиницу, на перекрестке Гоголевской и Шоссейной он увидел у газетного киоска человека в прорезиненном пальто и в кеппи, сдвинутой на затылок. Человек спросил "Огонек" и, развернув журнал, стал в трамвайную очередь на мостовой.

Инженер Куковеров тоже подошел к киоску и тоже спросил журнал; пока газетчик отсчитывал сдачу, быстрым и внимательным взглядом он окинул очередь и сзади посмотрел на человека в прорезиненном пальто и в кеппи, сдвинутой на затылок: журнал, который человек читал так внимательно, был перевернут в его руках вверх ногами!

Куковеров взял сдачу, повернул за угол и не спеша пошел по Шоссейной, изредка останавливаясь у магазинных витрин. В зеркальных стеклах витрин видна была улица и противоположный тротуар; на другой стороне человек в прорезиненном пальто и в кеппи, сдвинутой на затылок, медленно шел и тоже останавливался у витрин и афишных столбов. У клуба печатников старый грек, на лотке которого висела табличка с надписью, что здесь производится "моментальная поцинковка подметок, а также шнурки", почистил Куковерову желтые остроносые башмаки; человек в прорезиненном пальто купил на другой стороне улицы пирожок с маком и долго, скучая, ел его, присев на чугунной тумбе у ворот городского палисадника. Грек кончил чистить, стукнул черным костлявым пальцем по носку блестящего башмака и спрятал гривенник, отерев его бархаткой, в ящик; Куковеров на этот раз очень быстро пошел по улице дальше и стремительно завернул в угол. Через две минуты из-за угла показался человек в прорезиненном пальто; косым взглядом он окинул улицу и, заметив Куковерова, не спеша, прошел дальше.

Этого человека Куковеров встретил сегодня, возвращаясь от Струка, уже четвертый раз; он вспомнил сейчас же и сопоставил с этим тот факт, что деловые бумаги в его запертом столе у Струка каждый раз очень аккуратно бывают переложены к утру в другом порядке, что от телефона, по которому он говорит в странном особняке, в первый же день, как он приступил к работе, сделали под каким-то предлогом отводку в задние комнаты, куда он ни разу не проникал еще, вспомнил, наконец, преувеличенную и неприятную любезность, какую проявляет к нему Струк, и для него стало совершенно очевидным, что за ним следят.

Усмехнувшись чему-то, он сел на извозчика и поехал в гостиницу "Бельвю". Малый в ливрее с галунами, похожий на певчего из капеллы, встретил его улыбаясь приятно, как всегда улыбаются в гостиницах постояльцам, которые занимают лучшие номера.

— Позабыли что-нибудь опять? — спросил малый и услужливо очистил на ходу пыль и краску, в которую инженер испачкал, стоя у трубы за углом, пальто.

— Нет, что? Ничего не позабыл, — немножко удивленно сказал Куковеров, и, не придав этому вопросу значения, поднялся к себе наверх.

Не раздеваясь, он подошел к телефону и вызвал номер шесть восемьдесят четыре.

— Алло! — сказал инженер и быстро и непонятно прибавил: — Скорый номер семь, Москва-Севастополь?

— Опаздывает на час двадцать! — глухо ответили в трубку.

Тихо и с осторожностью, подбирая, видимо, слова, инженер сказал:

— Угол Шоссейной и Гоголевской, Шоссейная и сквер, — что вы там имеете? Что? Нет, нет, на самой улице... В частности: блондин, лицо бритое, лоб в оспинках, открытый, прорезиненное пальто, на ногах черные краги... Нет? Хорошо. Больше ничего. Встреча, как всегда...

Взгляд его впервые скользнул сейчас по комнате и странный беспорядок, который царил в номере, сразу бросился ему в глаза: раскрытый его чемоданчик был перевернут вверх дном, в нескольких местах вырезан ножом, и бумаги и вещи, которые в нем были, в беспорядке валялись на полу.

Инженер Куковеров запер дверь и, быстро шагнув, поднял край ковра под круглым столиком у окна. Под ковром он ощупал что-то рукой, потом заглянул под ковер, светя спичкой, и выражение напряженного беспокойства исчезло с его лица. Он поставил столик на место, поспешно прибрал разбросанные вещи, позвонил и, когда пришел вызванный малый снизу, спросил, кто заходил к нему, или кто справлялся о нем в его отсутствие. Малый ответил, что никто не справлялся, а зайти и подавно никто не мог, потому что это, слава богу, первоклассный отель, а не постоялый двор, и в отсутствие гостя, — как сказал вышколенный малый, — никто не посмеет отворить его номер. К тому же, как гражданину Куковерову хорошо известно, он никогда не оставляет ключа в гостинице, и даже уборка производится при нем, в вечерние часы. Малый обеспокоенно мигал белесыми, выцветшими глазами и настойчиво желал узнать, чем вызван этот вопрос гражданина Куковерова.

— Нет, ничего, — сказал Куковеров, — вспомните-ка все-

таки, получше, начнемте с утра. В половине девятого я вышел. Так? Вы дали мне газету и позвали извозчика. Так? В три с половиной я вам позвонил, чтобы к пяти мне сделали ванну и приготовили второй номер для моего товарища, рядом. Так? В половине пятого я вернулся, и вы...

— Извиняюсь, — сказал малый с довольным видом человека, который может подать удачную реплику в небезынтересной беседе, — вы еще до четырех заходили и сказали, что позабыли книжечку в спинжаке...

— Что?! — спросил Куковеров и сжал сейчас же выбритые, тонкие губы, и мускул у левого глаза дрогнул на его щеке: — После того, как позвонил?

— Диствительно, — ухмыляясь, сказал парень, — и пяти минут не прошло. Я еще говорю: — Ну и извозчики ж у вас быстрые! То звонили, а то уже тут. — И вы говорите: "Диствительно, не во всяком городе такие извозчики, а кому бог дал". — И прошли к себе, а потом вышли через полчаса, или через сколько там минут, и сейчас, вот вернулись, а у вас спрашиваю: — Опять забыли что? — "Нет, говорите, я по другой надобности". И прошли, конечно...

— Так, так, — сказал Куковеров равнодушно уже, — и больше никого? Странно, я тут ждал одного такого человечка в... этом, как его, черт, в... бобриковой куртке, словом. Не было?

— Не было, — сказал малый в ливрее и потерял спиной о косяк.

— Ну, ладно, идите. Номер двадцать три готов?

— Готов!

— Сейчас приедет и займет его гражданин Берлога.

Когда малый вышел, инженер, потирая лоб, прошелся по комнате. Нерв у левого глаза дергался все чаще и чаще.

— Спокойнее, спокойнее! — сам себе сказал инженер Куковеров, прошелся еще раз, выпил из графина стакан тепловатой и пахнувшей веником воды и подошел к телефону.

Он вызвал психиатрическую больницу, сказал, что говорит дежурный по Златздравотделу и попросил немедленно сообщить, под чью расписку выписан и кому сдан на руки больной Берлога. Из больницы ответили, что больной Берлога выписан ровно пять минут тому назад, и его сопровождает расписавшийся в книге инженер Борис Самойлович Куковеров.

— Спокойнее, спокойнее, — еще раз сказал себе Куковеров и вытер платком покрывшийся мелкими капельками холодного пота лоб.

Сейчас же он позвонил снова, спросил номер шесть восемьдесят четыре, опять обменялся с кем-то невидимым быстрыми и странными словами о скором номер семь, который запаздывает на час двадцать минут, и коротко сказал голосом человека, который привык приказывать:

— Немедленно связаться с шоссе. Что за маскарад? Кто с ним едет? Уже десять минут шестого, почему его нет? Я звонил в больни...

— Он выехал, — сказал, перебивая, глухой голос в трубку, и в тоне человека, который говорил, прозвучала обида: — Вы напрасно проверяете меня, не беспокойтесь. Без пяти пять он проехал каменоломню на шоссе, и, как вам известно не хуже, чем мне, вы лично сопровождали его...

— Стоп! Слушайте! — быстро и нервно сказал Куковеров, и сейчас же в трубке зашипело и зацокало что-то и равнодушный женский голос спросил:

— Га-ва-ри-тте?

— Говорю, говорю, не перебивайте, черт вас подери! — закричал инженер Куковеров.

— Не ругайтесь! — строго сказала телефонистка: — Я выключу ваш номер-р.

— Соедините, пожалуйста, скорее, — сказал Куковеров тихо и сжал кулаки, и жила надулась у него на лбу, — шесть восемьдесят четыре.

— 3-занято! — злорадно сказали со станции, и опять что-то зашипело и зацокало в трубке.

Еще полминуты Куковеров бешено стучал костяшкой пальца по телефонному рычагу; потом, бросив трубку и оборвав шнурок, он кинулся к дверям и, на ходу одев пальто, выбежал мимо изумленного малого в ливрее на улицу, вскочил в пролетку, которая стояла на углу и бросил отрывисто:

— Большое шоссе! Каменоломня, десять рублей.

— Въе, мальчики! — сказал извозчик, и, приподнявшись на козлах, стал стегать ожесточенно рванувшихся и прижавших испуганно уши, сытых рыжих лошадей.

Когда через восемь минут бешеной езды они миновали последние хибарки на выезде, Куковеров отпустил извозчика, и, не торопясь уже, пошел вперед по шоссе, усаженному липа-

ми. Шоссе было ровно, как стрелка, и через несколько минут очень далеко впереди появилась на нем черная точка стремительно мчавшегося к городу автомобиля. Точка росла, приближалась, вздымая тучи пыли и еще через минуту небольшой четырехместный "Фиат", непрерывно трубя сиреной, затормозил перед человеком, бестолково метавшимся под самым носом машины из стороны в сторону на шоссе. Человек отступил, когда машина остановилась, шофер, ругаясь, сейчас же опять дал газ, и автомобиль снова рванулся вперед.

Инженер Куковеров увидел на миг мелькнувшее перед ним изумленное и растерянное и бледное лицо Берлоги, который крикнул что-то, рванувшись из автомобиля. Но второй человек, сидевший рядом, быстро схватил кисть его руки, с силой сжал и резко повернул, и Берлога упал на сиденье. Куковеров, который стоял на шоссе, и Куковеров, который сидел в автомобиле, взглянули друг на друга, и "Фиат" проскочил, тотчас же подняв за собой пыль, в которой невозможно даже было разобрать номер на табличке у заднего красного фонаря машины...

## Глава двенадцатая

### СТРАШНАЯ НОЧЬ



А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Ленка Вздох вошла в дом Кулаковых и разделась в прихожей. Валентина Петровна молча пропустила ее в столовую и закрыла за нею двери. Как и в прошлый раз, за столом сидели те же знакомые лица: Пантелеймон Иванович и мистер Струк. Они оба поднялись ей навстречу и, улыбаясь, дружески заговорили:

— Рады вас видеть, Елена Петровна!

— Мы давно вас поджидаем.

В тонком шерстяном платье коричневого цвета, в лаковых туфлях на французских каблучках, в шелковых просвечивающихся чулках, она производила впечатление стройной и привлекательной женщины.

Пантелеймон Иванович, оглядывая ее с ног до головы, восхищался:

— Как вам идет новый наряд! Замечательно! Вы теперь, можно сказать, пронзите любое сердце мужчины.

Мистер Струк добавил:

— Будь я помоложе лет на десяток, я бы расшибся у ваших ног, Елена Петровна!

Ленка Вздох кокетливо отмахивалась рукой и, показывая две дуги мелких зубов, белых, как сахар, весело смеялась:

— Будет вам шутить надо мною.

Пантелеймон Иванович, показывая на ряд бутылок, спросил:

— Вам какого прикажете налить? Есть мадера, портвейн.

Мистер Струк вставил:

— Рекомендую барзак. Сам всегда пью. И ароматное, и приятное, и душу веселит.

— Мне все равно, — ответила Ленка Вздох.

Ей нравились все вина, и она пробовала то из одной бутылки, то из другой, закусывая сыром, фруктами, пирожным и конфетами. На лице, запудренном, в завитых локонах стриженных волос заиграл горячий румянец. Кроме того, она играла какую-то важную роль, правда, слепую, всегда наполненную смутной тревогой, но за это ей платили хорошие деньги.

Кулаков вылез из-за стола, посмотрел за дверь и, вернувшись обратно, заговорил:

— Ну-с, теперь о деле, Елена Петровна.

Он погладил свою лысину и понизил голос до шепота.

Слушая его, она строго сдвинула черные брови, тонкие, изогнутые к вискам, как два серпа...

А когда Ленка Вздох, простившись с мужчинами, вышла из прихожей на улицу, они многозначительно переглянулись и прыснули от смеха. Возвращаясь в столовую, Пантелеймон Иванович сказал:

— А неплохо налаживается наша махинация.

Мистер Струк посоветовал ему:

— Звони скорее.

Кулаков взялся за телефонную трубку и вызвал номер 28-74.

\* \* \*

В пять часов Ленка Вздох спускалась под гору, направляясь в порт. Прямо с юга ползла черная туча, словно дымовая завеса. Она закрыла полнеба, спрятала солнце.

Ленка Вздох, шагая против ветра, согнулась. Одной рукой она поддерживала голубую шляпу на голове. Полы серого летнего пальто раскрывались, словно незримые руки хотели раздеть ее. Благополучно прошла в ворота, мимо таможенника, не обратившего, впрочем, на нее никакого внимания. Свернула налево по дороге, ведущей к пассажирской пристани. Нужного ей человека нигде не было. И только тогда, когда спустилась ниже, навстречу ей показался мужчина в прорезиненном пальто, в серой клетчатой кепке, с тросточкой в одной руке, с портфелем — в другой. В петличке у него была воткнута хризантема.

— Он самый, — мысленно произнесла она и почему-то забеспокоилась.

У него было выхоленное лицо с прямым носом, с небольшими усами, завитыми в два кольца. На нее пылливо уставились два желтых глаза, отвратительно неподвижных, как у щуки. Поравнявшись с нею, он сказал:

— Скоро настанет зима.

— А за нею придет весна, — ответила Ленка Вздох условленное.

Он сразу остановился.

— Идемте за мною, Елена Петровна.

Они свернули за развалины бывших складов. Убедившись, что кругом никого нет, он снова остановился. Она достала из-за пазухи небольшой сверток, аккуратно запакованный, с сургучной печатью на нем, и передала его мужчине. В этот момент она заметила, что у него около левой ноздри — бородавка, а на мочке правого уха рубец давно зажившей раны.

Ленка Вздох, расставшись с ним, направилась было домой, но не успела выйти из порта, как услышала протяжный гудок. Она оглянулась. В это время, покачиваясь на разведенной волне, приближался к гавани какой-то пароход. Он показался ей похожим на "Коммунара". Три месяца тому назад на нем ушел в заграничное плавание рулевой Корчагин. Это был славный малый, весельчак, отличавшийся силою и бесшабашной храбростью. Вспомнилось, как он ночевал с нею в Стругалевке. Тогда досталось от его увесистых, как чугун, кулаков и Петьке Козырю и Шилу. А ее, Ленку, он хорошо наградил и обещался в следующий раз, вернувшись из рейса, привезти заграничные подарки.

Подумав немного, она направилась обратно, вниз, к набережной.

Неизвестный пароход, обогнув каменный мол, вошел в ворота гавани и, замедляя ход, направился к набережной, туда, где вытянулись рыжие корпуса казенных складов. Черный дым, вываливаясь из трубы, опережал его, падал разорванными клочьями на воду. Ленка Вздох, сощурившись, жадно всматривалась в знакомый корпус. Она могла уже прочитать буквы на черном фоне носового борта: "Коммунар".

Налеты шквалов становились все сильнее, крепче, оглушительнее. Со свистом и гулом приближалась буря.

Недалеко от Ленки Вздох толпились на берегу женщины и ребяташки. Это жены ждали своих мужей-рыбаков, а дети — отцов, затерявшихся где-то в разбушевавшейся пустыне.

"Коммунар" левым бортом пристал к стенке и пришвартовался. Ленка Вздох подошла к нему ближе. Здесь находились еще женщины, пришедшие встретить своих мужей или возлюбленных. По спущенному трапу поднялись на палубу начальствующие лица, чтобы произвести осмотр судну. А минут десять спустя, матросы уже перекликались с женщинами.

Рулевой Корчагин, перегнувшись через фальш-борт, кричал вниз:

— Леночка, дорогая! Да я тебя не узнал! ты такая нарядная стала! Вот спасибо, что пришла!

Ленка Вздох спросила:

— Скоро, что ли, освободишься? А то я озябла.

— Потерпи, зазнобушка, еще с полчаса. Процедура у нас закончится. Тогда прямо к тебе на квартиру зальемся. Эх, и угощу же я тебя!

Корчагин, улыбаясь, лукаво подмигнул!

— И на всю ночь брошу якорь у твоего сердца.

Справа в гавани стоял на якоре "Красный луч". Это было громадное наливное судно, содержащее в своих трюмах около семисот тысяч пудов нефти. От борта его отделился ялик с двумя пассажирами и направился в сторону берега. Он пристал к каменным ступенькам, спускающимся со стенки в воду. С кормы спрыгнул на сушу пассажир и начал рассчитываться с гребцом. Ленка Вздох, находившаяся в это время поблизости, узнала в нем человека в прорезиненном пальто, того самого, которому она передала таинственный сверток. Он торопливо направился в город, ни разу не оглянувшись.

\* \* \*

Быстро надвигалась ночь, угрюмая и тревожная. Порт осветился электрическими лунами, а корабли — звездами. Бакены мерцали красными и зелеными огнями. Через каждую минуту загорался проблесковый маяк, делая по три вспышки подряд: снопы ярких лучей вонзались в мрак миль на двадцать. Ветер дул с прежней силой. По низко нависшему небу колесом катились тучи. Шумело море, гроыхал прибой, словно обрушивая многоэтажные здания.

Не суждено было Ленке Вздох встретиться с милым моряком, которого она так долго ждала. Случилось другое. Прежде всего она увидела, как на "Коммунаре" беспокойно засуетились люди, что-то выкрикивая. Пожилой капитан вбежал на мостик и, повернувшись к корме, заорал во весь голос:

— Швартовы отдать! Механики и ниже-палубная команда — вниз! Машину пустить!

— Пожар! Пожар!..

Ленка Вздох вздрогнула. Замерло сердце, стиснутое страхом. Она растерянно огляделась. Потом вместе с другими женщинами бросилась в сторону.

— Батюшки! Нефтеналивное судно горит! Пропали мы! — выкрикивал какой-то мужчина, пробегая мимо нее.

Над кормою "Красного луча" клубился черный дым. На палубе металась фигура моряков.

Весть об опасности, словно магнитная волна, облетела весь порт. Все живое поднималось на ноги, с криками вываливало на берег. Из отдельных фраз моряков Ленка Вздох поняла, какая страшная угроза нависла над городом. Весь берег был застроен складами, забитыми горючими товарами. Кроме того, здесь же находились огромнейшие баки с нефтью, Если все это загорится, то на Златогорск обрушатся разрушительные вихри огня.

Первым, отшвартовавшись от стенки, загорланил "Коммунар". К нему присоединили свои гудки два иностранных парохода, нагружавшихся зерном у элеватора. Потом заревели все корабли, словно хотели перекричать бурю. Каждое судно старалось скорее сняться с якоря. Для них осталось единственное спасение: это — уйти в море, пока не разлилась горящая нефть по всей гавани.

Ленка Вздох, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, села на каменные ступеньки, спускающиеся в воду. Это была

маленькая пристань для шлюпок. Здесь некоторое время тому назад сошел с ялика человек в прорезиненном пальто, Ленка теперь с отвращением вспомнила о его щучьих глазах. Жуткая догадка, как раскаленная игла обжигала ее мозг. Нервная дрожь пробежала по телу, стучали зубы. Хотелось убежать в город, чтобы не видеть этой трагедии, начинающей разыгрываться в порту, но не было силы воли подняться. И она продолжала оставаться на одном месте, словно прикованная к нему, и невольно смотрела на события, как театральные зритель на сцену.

Прискакали конные милиционеры и загарцевали по набережной. За ними примчались пожарные, сверкая медью остроконечных касок, — примчались с треском, с гудящими рожками, с тревожным звоном, Появились автомобили и пролетки с начальствующими лицами. Потом начал порт заполняться пешим народом, Весь плоскогорный берег, казалось, шевелился от множества голов. Разрастался нелепый галдеж, мешаясь с шумом бури, с гудками уходящих пароходов.

А между тем к "Красному лучу", корма которого все гуще и гуще окутывалась облаком черного дыма, уже пристали два сильных буксирных парохода: "Боцман" и "Штурман". На каждом из них насчитывалось по десятку людей, но это были самоотверженные моряки, решившиеся с риском для собственной жизни на героический подвиг. Нельзя было терять ни одной секунды времени, и вокруг злополучного судна закипела работа, Когда его двухлапый якорь показался над водою, один стальной буксир, переданный на "Красный луч" был уже основательно закреплен на железный кнехт.

С носа злополучного судна спустились остатки его моряков, усаживаясь в шлюпки. Кто-то перебрался на "Штурмана". Последний тоже подался вперед, натягивая стальной буксир. Наконец, словно буйное чудовище на арканах, тронулся и сам "Красный луч", направляясь к воротам гавани.

Весь берег качнулся тысячами человеческих тел, огласился иступленной радостью:

— Пошел!.. Пошел!..

Старухи крестились.

"Боцман" и "Штурман", увеличивая ход, непрерывно выли, прося очистить им путь. На корме буксируемого судна огонь усиливался и расширялся.

Другие корабли торопливо выбирались из гавани. Они уходили в ночную мглу, в разъяренное море, в грозную зыбь, не будучи уверены, что вернутся обратно.

Шлюпки с "Красного луча" подошли к маленькой пристани, где сидела Ленка Вздох. Сюда хлынули милиционеры и народ. Прибывших моряков обступили со всех сторон. Ленка Вздох, стиснутая плечами мужчин, слышала, как высокий человек, вероятно, начальник милиции, спросил:

— Где капитан?

Ему ответил моряк с золотым вензелем на фуражке:

— Капитан пересел на буксирный пароход "Штурман".

— А вы кто такой?

— Я первый помощник.

— Так. Отчего случился пожар?

— Здесь какая-то преступная тайна, умышленный поджог.

— Кто мог поджечь?

Первый помощник, помедлив немного, громко заорал, словно перед ним стояли глухие.

— У нас вечером был из посторонних только один человек. Он назвался корреспондентом от местной газеты. Предъявил нам удостоверение. Редакция, якобы, поручила ему осмотреть наше судно и описать свои впечатления. Капитан позволил ему это. Он заглядывал в каждую дыру судна. А через полчаса, как он оставил нас, вспыхнул пожар...

Ленка Вздох тихо застонала. Больше ничего она не могла воспринимать. Когда моряков под конвоем повели в город, она, оставшись в одиночестве, снова беспомощно опустилась на каменные ступеньки пристани. Стало душно. Распахнула полы нового пальто. Несколько секунд сидела съежившись, маленькая и неподвижная, а в мозгу бушевали мрачные вихри. Вдруг откинула голову и, словно тяжелый камень в море, свалила в глубь своей души страшный упрек:

— Слышала, что ты натворила? Какие еще наряды купишь себе? Эх, ты, продажная тварь...

"Красный луч", буксируемый двумя пароходами, приближался уже к выходу из гавани. Пожар на нем, разгораясь, свирепел, пробирался к спардеку. Все выше и трепетнее становились извивы пламени.

По всей гавани бегали зловещие тени. В озаренном небе творилась кутерьма. На берег падали клочья едкого дыма. Толпа гудела и передвигалась, словно колеблемая ветром.

Трудно было стряхнуть с себя ощущение гибельного конца: горящее судно отплывало, но, может быть, для того, чтобы хлынуть на город потоками огня. Но вот "Красный луч" стал выходить из-под защиты каменного мола, выдвигаясь на морской простор. И вдруг, попав в громадные волны, бешено вздыбился, словно хотел стать на корму. Два буксирных парохода, мотаясь, осадили его вниз. Теперь огненное чудовище находилось за стеною гавани. Оно металось из стороны в сторону, падало с борта на борт, зарывалось в зыбь, упиралось, проявляя упрямую непокорность, а его отводили на стальных буксирах все дальше и дальше. Толпа радостно загалдела, расхваливая на разные лады отважных моряков.

— Когда вернутся, носить их будем по всем улицам, точно иконы.

— Молебн за них служить.

— Молебны — ерунда. Ордены им и пенсию до гробовой доски.

— Раз они спасли город, лучший дом им нужно отдать.

Ленка Вздох, поднявшись, направилась к людям. Что-то хищное проснулось в ней. Походка стала крадущейся, как у пантеры. Она всматривалась в одежду мужчин, в их лица. Ей нужно было найти человека в прорезиненном пальто с бородавкой у левой ноздри, чтобы озлобленно вцепиться в него руками и зубами, а потом завывать на весь мир о тайном поджигателе.

*Окончание в № 80.*

---

*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД**  
**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ**

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

*КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.*

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

*Цена книги -15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We*

*475 Fifth ave, room 511 • A*

*New York, New York, 10017*

---

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА БОРИСА МУХАМЕТШИНА

Пустое занятие искать соответствие между человеческим обликом художника и тем, что он творит на полотне. И все же трудно представить, что этот мягкий, деликатный и почти неслышный человек, назвавшийся Борисом Мухаметшиным, и есть автор работ, которые мы публикуем в "Вернисаже" "Время и мы".

Согласимся, что для многих живописцев, оказавшихся в эмиграции, стало своего рода модой обличать советские реалии. Мухаметшина никак не назвать художником моды. Он не пишет сообразно потребностям рынка или политического момента. Он пишет так, одним единственным образом, потому что иначе писать не может. Я не знаю, как это назвать: "гнев"? "протест"? "обличение насилия"? — настолько стерлась наша политическая лексика, что трюизмом оборачивается любая попытка определить нечто существенное. Так вот, не боясь отступить от истины, я бы сказал так: Мухаметшин не просто пишет кистью, нет, как и многие из художников-сатириков, вырвавшихся из советского Архипелага, он обвиняет: "Вглядитесь в этот мир кошмаров, рожденный Марксом, Лениным, Сталиным. При показе его я не хочу быть просто свидетелем. Свидетельств более чем достаточно. Я хочу быть услышанным и выворачиваю этот мир наизнанку, чтобы вы поняли, каков он и перестали наконец молчать". Таковы иллюстрации к роману Орвелла "1984", таковы "Лениниана-гитлериана-сталиниана", таковы, наконец, агитплакаты художника.

Борису Мухаметшину 42 года. Шестую часть жизни он провел в советских тюрьмах и лагерях. Его посадили за серию созданных им постеров и иллюстраций к "Архипелагу ГУЛаг", и я думаю там, в Архипелаге ГУЛаге родились этот гнев и темперамент художника.

К сожалению, мы не можем показать его работы в красках, но и в тех, что вы видите, нет ни фона, ни подтекста, Кажется, любой подтекст только бы ослабил их.

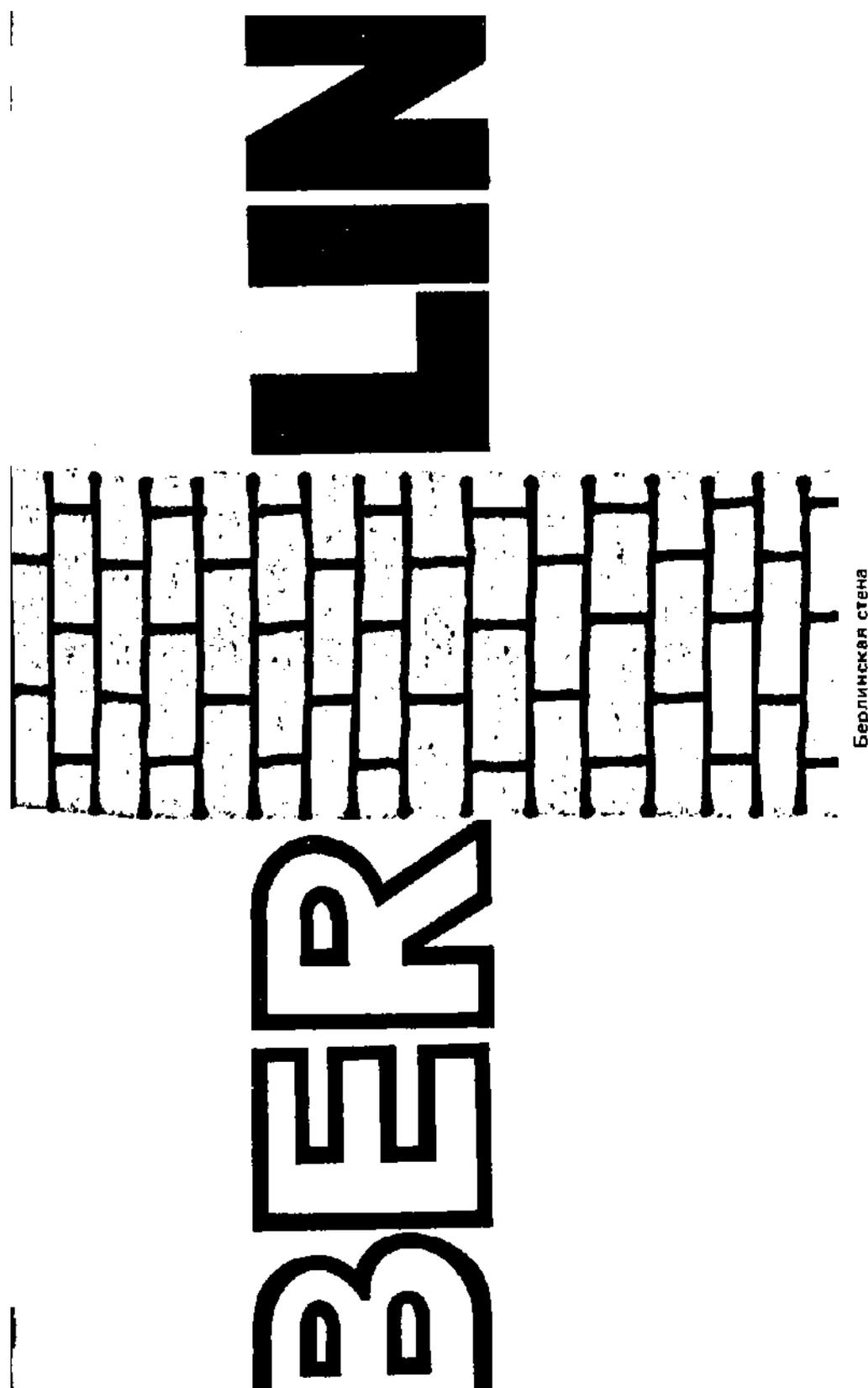
В. ПЕТРОВСКИЙ



Партийные танцы



Мона Ленин



Берлинская стена



Орден



*вогис '84.*

В.И.Ленин сегодня

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов  
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ. КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, ужа не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.*

*Заказы и чеки высылать по адресу;*

Time and We  
475 Fifth ave, room 511 —A  
New York, New York 10017



Хайль!

Умер основатель и главный редактор издательства "Ардис", член редколлегии журнала "Время и мы" Карл Проффер.

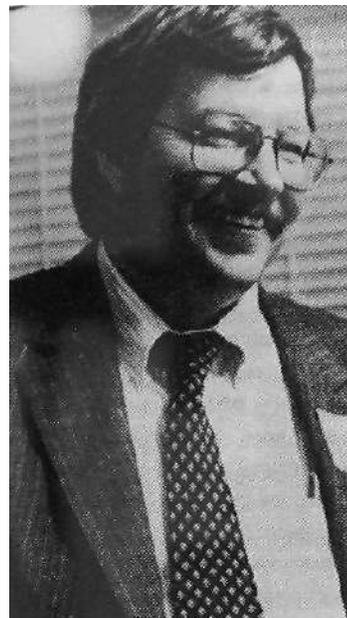
Смерть Карла Проффера — это большая потеря для русской литературы, для всех нас, кто так или иначе связал свою жизнь с русской книгой.

Карл Проффер обладал редким природным даром находить и растить таланты в литературе. Он умел приходить на помощь именно тогда, когда его поддержки не хватало более всего.

Десятки замечательных писателей — и там, в далекой теперь уже для нас России, и здесь — в эмиграции — обязаны ему тем, что их книги увидели свет; а их голоса были услышаны многими тысячами читателей.

Мы убеждены, что многогранная деятельность Карла Проффера — деятельность издателя, ученого, критика — оставит неизгладимый след в истории русской словесности, и не только мы, но и будущие поколения литераторов и читателей будут с благодарностью вспоминать его имя.

РЕДАКЦИЯ  
ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"



## АЛЬФА АРДИСА

*Памяти Карла Проффера*

В городе, имя которого я перевел бы как Анин Сад; на улице, имя которой я расшифровываю как Вересковая тропа; в доме, которого имя кажется мне иногда названьем созвездия или по крайней мере звезды, ибо имя этого дома — Ардис: там, в Ардисе, на холме возле Вересковой тропы, на окраине вертограда неведомой Анны, жил Карл Проффер, мой друг. Мой и моих друзей и приятелей по литературной судьбе. Друг наших неутоленных печалей, ожогов и тайн, колчеруких и затоваренных бочкотар, козлотуров и Николай Николаевичей. Друг наших долгих прощаний и быстротекущих бытий — жизнь ли то в ветреную погоду на русской даче, жизнь ли соло в американском сити. Друг нашей избранной лирики, частей нашей речи и речи в ее изумительном целом. Наш общий друг и издатель наших несвоевременных, неуместных, невидимых книг. Жил — и следовал своему призванию. И поступая так, совершенствовался в одном особенно модном теперь искусстве, муза коего издали напоминает триединого Бога. И триедино имя искусства: надеяться — верить — любить. Карл Проффер любил свое дело — свое и наше: дело вольной российской словесности. Он надеялся, что труды независимых русских писателей — где бы те ни "несли свою скорбную вахту" — на родине или в изгнании — не окажутся тщетными. Он верил, что в недалеком будущем страна нашего языка станет свободна и вся мерзопакость партийной печатной продукции будет отмечена и забыта. И у книг, что займут ее место, будет только одно назначение: быть литературой.

Карл родился и вырос на Среднем Западе, в семье, где духовным ценностям нередко предпочитали более осязаемые. И хотя в доме родителей была небольшая библиотека, состояла она в основном из пособий по автомеханике и домоводству. На этом фоне достижения Карла особенно впечатляют. Когда я пытаюсь проследить его земной путь, я вижу сначала мечтательного и не слишком ловкого в играх подростка, чье детство и отрочество затерялось в краю Гайаваты. Мы хорошо знакомы с той местностью по рассказам Хемингуэя. Это ведь там, у них, в Мичигане, работали на лесопилках грубоватые парни с большими и жилистыми руками, и Ник с товарищем, переживая трехдневную непогоду в какой-то избушке на берегу озера, всю ночь пили виски и рассуждали про все на свете. И это там, в Мичигане, что-то необратимо кончилось — кончилось, чтобы продлиться в слове и в нас на правах остановленного мгновения. А потом я вижу высокого и худого юношу в несколько высокомерных очках, студента-гуманитария. С возрастом он делается намного ловчее. Отец подарил ему старый форд, и, небрежно откинувшись на сиденье, юный Карл раскатывает на нем туда и сюда с лихостью фолкнеровских героев. Он пьет кока-колу и пиво, покуривает и вообще ведет довольно рассеянный образ жизни. При этом он умудряется стать звездой университетского баскетбола и подумывает, не перейти ли в профессионалы. Но затем с ним случается то, что неизбежно случается с теми, с кем не случиться не может. Студента факультета славистики Карла Проффера постигло призвание. Постигло и озарило. Я, право, не знаю, как именно это случилось; но, будучи человеком литературного образования, догадываюсь, что и тут виноваты книги. Ведь даже лучшие баскетболисты университетских команд нет-нет да заглядывают в библиотеку. Так или иначе, в известный момент своего студенческого состояния Карл осознает, что влюблен и что чувство необоримо. Предмет его страсти — русская литература. Значит, выбор факультета, по необходимости сделанный при поступлении в университет, лишь казался случайным. Значит, путь был предначертан. И, конечно, не обойтись тут без слова, которое определит суть явления. Только чтобы не быть голословными, рассмотрим его в контексте перифразированной пушкинской цитаты: судьба его была решена: он решил стать ученым. Впрочем, став им, он Пушкину неизменно предпочитает Гоголя, а Лермонтову — Набокова. Гоголь и Набоков для Проффера — два самых пронзительных мастера русской прозы, два ее самоважнейших критерия, два равновеликих. Им, их творчеству он посвящает свои учебные работы, а позже — статьи и книги. Одна из них, опубликованная вскоре после защиты диссертации, обеспечивает молодому доктору философии блестящую репутацию. Это — ставшие классикой американского литературоведения "Ключи к Лолите" — смелое эссе о смелом набоковском романе. Преподавательская деятельность Карла, который, надеюсь, простил бы мне это казенное выражение, связана в

основном с Мичиганским университетом, что расположен в том самом городе, имя которого я перевожу как Сад Анны. Мне думается, я имею право на подобную вольность: ведь я неплохо знал город Энн Арбор, я был с ним на короткой ноге. Он оказался первым американским городом, где я распаковал свои эмигрантские чемоданы. А первым домом моим в Америке был Ардис, дом на Вересковой тропе — огромный странноприимный особняк на семи ветрах. Восемь лет назад там, в Ардисе, печаталась моя первая книга в оригинале. Она же переводилась. Я же в те дни обретался в Европе, и обстоятельства мои складывались не лучшим образом. Узнав об этом, Карл пригласил меня провести остаток года в его доме-издательстве. Я не заставил себя долго ждать и на целую осень стал членом большой семьи Эллен-деи и Карла Профферов. За годы существования Ардиса в нем наездами и проездами живало и бывало гостей бесчисленно. Писатели, переводчики, музыканты, актеры, художники, ученые. Разных национальностей и паспортов. Но по большей чести — американцы, русские, русские американцы и американские русские. И, как в настоящем, точнее — в вымышленном Ардисе из набоковского романа "Ада", звучали здесь, смешиваясь, два наречия, творчески сосуществовали две культуры. На равных началах. Карл задумал его как американское издательство русской литературы, и в этом состоит уникальность "Ардиса". Основатель и главный его редактор, Карл был также критиком русской литературы, ее переводчиком, ее исследователем, профессором, открывателем ее новых талантов и поборником ее прав, давшим возможность отвергнутым на родине писателям увидеть свои произведения опубликованными. Уйдя, он остался в наших книгах и судьбах. В судьбах наших читателей. В судьбах нашей вольной словесности. Потому что именем ее и во имя, в дар ей и в надежду он зажег созвездие Ардис и сам стал его Альфой. Над садом неведомой Анны, над Вересковой тропой, над проспектом Тверским и Невским, над трактом Сибирским и трактом Владимирским — гори, гори ясно.

*Саша СОКОЛОВ*

**Редакция с глубоким прискорбием сообщает о смерти основателя "Фонда прогресса и развития в Израиле" госпожи Евгении Шрайбер.**

**От имени большой группы читателей мы выражаем соболезнование ее родственникам и друзьям, а также господину Расину, директору Фонда, финансирующего подписку ряда израильских библиотек на журнал "Время и мы".**

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ЛЕВ ТИМОФЕЕВ** — рукопись получена по каналам самиздата.

**ВЛАДИМИР МАТЛИН** — родился в 1931 г. Окончил юридический факультет МГУ. Семнадцать лет проработал редактором и сценаристом на киностудии Центрнаучфильм. По сценариям В.Матлина снято около десяти короткометражных фильмов. Один из них — "Ночь на размышление" (режиссер Цукерман) был запрещен в СССР, нелегально вывезен на Запад и получил премию на Международном фестивале "Филмэкс" в Лос-Анджелесе. С 1975 г. работает на радиостанции "Голос Америки", публикуется в русскоязычной и англоязычной печати.

**ЯКОВ РАБИНЕР** — родился в 1943 г. Окончил Киевский педагогический институт. В Союзе печатался в местной прессе. С 1979 г. живет в Нью-Йорке.

**ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА** (Юлия Дубровкина) — родилась в 1932 г. в Москве. В 1961 г. окончила сценарный факультет Всесоюзного института кинематографистов. Писала сценарии для кино и телевидения. В Израиле с 1973 г. Постоянно печатается в русскоязычной прессе на Западе.

**ВЛАДИМИР ЛЕФЕВР** — психолог. В СССР работал в Центральном математико-экономическом институте. В 1967 г. вышла его книга "Конфликтующие структуры" (изд-во "Вышая школа"). С 1974 г. живет на Западе. Профессор Калифорнийского университета (Ирваин).

**СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ** — родился в 1905 г. в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. Был участником молодежного сионистского движения и эмигрировал в Палестину в 1928 г. После второй мировой войны был секретарем Общества дружбы "Израиль—СССР", из которого вышел в 1956 г. в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Журналист, политический комментатор. Постоянно выступает в израильской прессе.

**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ** — родился в 1926 г. Окончил Киевский университет в 1949 г. и Московский статистический институт в 1950 г. Социолог. Работал в Новосибирском университете, а затем в Институте социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 г. В настоящее время — профессор Мичиганского университета.

**ДОРА ШТУРМАН** — родилась в 1923 г. на Украине. Филолог и историк. В 1944 г. была осуждена на пять лет за исследование творчества



## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС“

- Саша Соколов, „Школа для дураков“. 1976.  
 Саша Соколов, „Полисандрия“. 1983.  
 В. Аксенов, „Ожог“. 1981.  
 В. Аксенов, „Бумажный пейзаж“. 1983.  
 Ф. Искандер, „Сандро из Чегема“. 1979.  
 Ф. Искандер, „Кролики и удавы“. 1982.  
 А. Битов, „Пушкинский дом“. 1978.  
 И. Бродский, „Часть речи“. 1977.  
 И. Бродский, „Новые стансы к Августе“. 1983.  
 А. Цветков, „Состояние сна“. 1981.  
 В. Набоков, „Приглашение на казнь“. 1976.  
 В. Набоков, „Бледный огонь“. 1983.  
 В. Набоков, „Дар“. 1975.  
 М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-  
 Том 1, Ранняя проза, 1982.  
 М. Булгаков, „Неизданный Булгаков“, 1977.  
 И. Бабель, „Забытые произведения“, 1979.  
 В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-  
 Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.  
 О. Мандельштам, „Проза“. 1982.  
 А. Белый, „Почему я стал символистом“. 1982.  
 „М. Цветаева — Фотобиография“. 1980.  
 „М. Булгаков - Фотобиография“. 1984.  
 С. Полякова, „Цветаева и Парнок“. 1982.  
 А. Гладилин, „Большой беговой день“. 1983.  
 В. Войнович, „Иванькиада“. 1976.  
 В. Войнович, „Выбор“. 1984.  
 „Метрополь — литературный альманах“. 1979.  
 Л. Копелев, „Утоли моя печали“. 1982.  
 Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени“. 1983.  
 Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104
-

нескольких советских поэтов. После освобождения, окончив университет, преподавала в школе. Одновременно занималась исследованием фундаментальных проблем советского строя. В Израиле с 1977 г. Постоянно выступает в русскоязычной зарубежной печати.

**ЯКОВ АЙЗЕНШТАДТ** — родился в 1920 г. Кандидат юридических наук. В Московской городской коллегии адвокатов проработал 21 год. Эмигрировал в начале 1982 г. в Израиль. Работает в Центре по изучению европейского еврейства Иерусалимского университета. Готовит к изданию книгу "Записки московского адвоката".

#### ОБ АВТОРАХ РОМАНА "БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ"

**АЛЕКСАНДР ГРИН** (1880-1932) (псевд., настоящее имя Александр Степанович Гриневский). Начал публиковаться в 1906 г. Автор многочисленных рассказов, повестей и романов ("Алые паруса", "Бегущая по волнам" и др.). По фантастичности сюжетов Грина можно сравнить с романтиками Гофманом и По. В конце 20-х годов и до последних дней жизни Грин подвергается преследованиям со стороны официальной критики.

**ЛЕВ ВЕНИАМИНОВИЧ НИКУЛИН** (1891-1967). Первая книга вышла в 1923 г. В советской литературе известен своими верноподданническими произведениями, написанными согласно канонам социалистического реализма. Никулину принадлежат книги о Шалапине, Чехове, Бунине, Куприне. В 1950 г. написал исторический роман "России верные сыны", за который получил Сталинскую премию.

**АЛЕСЕЙ ИВАНОВИЧ СВИРСКИЙ** (1865-1942). Родился в бедной еврейской семье. Начал печататься в 1892 г. Критика тех лет сравнивала его рассказы с рассказами раннего Горького. В своем творчестве Сиврский часто обращался к людям российского захолустья — еврейской бедноте, мелкому торговому люду, беспризорникам. Одна из самых известных его книг — повесть "Рыжик" (переведена на многие языки). Основные свои вещи писатель создал до революции. С 1928 г. и до конца жизни работал над книгой "История моей жизни". Был репрессирован и в 1942 г. погиб в сталинских лагерях.

**СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ БУДАНЦЕВ** (1896-1940). Начал печататься в 1910 г. Известность Буданцеву принес роман "Мятеж" (1925) об эсеровском бунте в волжском городе. Последняя прижизненная публикация датирована 1935 г. В 1937 г. репрессирован и расстрелян как враг народа.

**ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ЛЕОНОВ** (р.1899). Начал публиковаться в 1918 г. В годы сталинских чисток критика отмечала "слитность идей" его творчества с "коренными историческими процессами времени". В 1943 г. за пьесу "Нашествие" получил Сталинскую премию. В 1957 г. — Ленинскую. В 1977 г. Леонов снова был удостоен Государственной премии.

**ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛИБЕДИНСКИЙ** (1898-1959). Начал публиковаться в 1922 г. Один из руководителей РАППа (Российская ассоциация пролетарских писателей, 1925-1932), боровшегося за партийность советской литературы. Во время войны был корреспондентом "Красной Звезды". Занимался изучением эпоса и истории Кавказа, переводами с осетинского. В 1958 г. вышла книга его мемуаров "Современники", включающая рассказы о Фурманове, Островском, Фадееве и др.

**ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ НИКИФОРОВ** (1884-1937). Начал печататься как поэт в 1918 г. Затем стал прозаиком. В своих произведениях разоблачал врагов пролетариата. В романе "Женщины" (1929) создал образы коммунистов-рабочих и колхозников. Последнее значительное произведение Никифорова — исторический роман "Мастера". В 1937 году был репрессирован и расстрелян как враг народа.

**ВЛАДИМИР GERMANOVICH ЛИДИН** (1894-1982). Начал печататься в 1915 г. В ранних рассказах обращался к жизни дореволюционной интеллигенции из среды которой произошел. В 20-е годы героями Лидина стали романтики революции и пятилеток. Во время войны был корреспондентом "Известий". Автор двух книг воспоминаний: "Люди и встречи" (1957) и "Окно, открытое в сад" (1975).

**ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ** (1894-1941). Начал публиковаться в 1916 г. В годы гражданской войны — боец Первой Конной армии. На основе личных впечатлений этого времени Бабелем была написана "Конармия". Критика 20-х годов обвиняла писателя в натурализме и идеализации стихийного начала гражданской войны. В "Одесских рассказах" Бабель обрисовал быт города, где он родился и провел годы юности. Его герои — одесские банкиры, буржуа, мастеровые, мелкие торговцы, "налетчики". Бабель по-справедливости считается одним из талантливейших стилистов в русской литературе. В 1939 г. был репрессирован и в 1941 г. погиб в сталинских лагерях.

**ФЕОКТИСТ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕРЕЗОВСКИЙ** (1877-1952). Начал печататься в 1900 г. Член партии с 1904 г. Жизнь большевистского подполья — основная тема его творчества (роман "Степные просторы",



# ЭРМИТАЖ

В 1984 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (143 с, статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 180 с.)	7.00
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с., 80 илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. "После прошлого". (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры". (145 с., 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 стр.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 стр.)	7.50
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборн. интервью. 15 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной". (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (250 с.)	7,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 стр.)	14.00
КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 стр.)	8.00
ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., 15 илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий. "Маленькая Тереза". (230 стр., илл.)	9.50
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист". (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник". (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Дмитрий. "Записки московского пианиста". (208 с., 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На русском, англ., фран., 140 стр.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника". (Роман, 240 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и других товарищах". (140 с.)	7 50
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю". (Рассказы, 230 с.)	3.50
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты". (Статьи, 230 с.)	g 0
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с.)	7 00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 стр.)	o RQ
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	d.00

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.

1924, "Перепутья", 1928). Активно Березовский начинает писать в 20-е годы, но после 1928 г. его имя исчезает со страниц печати. По имеющимся источникам, писатель был репрессирован и погиб в лагерях.

**А.ЗОРИЧ (1899—1937)** (псевд.; настоящее имя Василий Тимофеевич Локоть). Начал печататься в 1919 г. С 1923 г. в "Правде" и "Известиях" появляются многочисленные фельетоны, очерки и рассказы Зорича. Наряду с Кольцовым один из первых видных советских фельетонистов. В 1937 г. был репрессирован и расстрелян как враг народа.

**НОВИКОВ-ПРИБОЙ (1877-1944)** (псевд.; настоящее имя Алексей Силыч Новиков). Писатель-маринист. Первые рассказы были опубликованы в 1912 г. Наибольшей известностью пользуется роман "Цусима", удостоенный Государственной премии.

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый господин редактор!  
Среди нескольких сделанных Вами редакционных "улучшений" моей статьи о цензуре, опубликованной в № 75 Вашего журнала, особого внимания заслуживает вот какое: на стр.141 к цитате из "Литературной газеты" Вы добавили от моего имени утверждение, будто бы в цитируемом тексте речь идет о Кольцове. Но это не так, и читатель, который захочет проверить цитату, уличит меня во лжи. Поэтому у меня нет другого выхода, как просить Вас напечатать это письмо, причем в неотредактированном виде.

С уважением

Юлиус ТЕЛЕСИН

## ОТВЕТ РЕДАКЦИИ

В статье "Исправленный Хемингуэй, или по ком стригут ножницы" (№ 75) на стр.141 Юлиус Телесин, рассказывая о М.Кольцове и желая показать, что официальная реабилитация не снимает, по советским понятиям, вины с человека, в прошлом осужденного за "контрреволюционные преступления", воспользовался цитатой из "Литературной газеты", не оговорив, что она относится к А.И.Солженицыну.

Редакция журнала "Время и мы" сожалеет о том, что не разобралась вовремя в передержке, допущенной Ю.Телесиним, и вставила в скобках в приводимой им цитате фамилию Кольцова, что вытекало из контекста.

## ИСПРАВЛЕНИЕ НЕТОЧНОСТИ

На стр.4 и 164 в № 78 следует читать не "Наше интервью", а "Интервью".

## "СТРАНА И МИР"

Ежемесячный журнал. Издается в Мюнхене

Журнал освещает события политической, экономической и духовной жизни в Советском Союзе и во всем мире.

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности, — живущим в СССР и за рубежом.

Наряду с авторами-эмигрантами в журнале сотрудничают публицисты, общественные деятели, философы и журналисты многих стран мира, в том числе Америки, Франции, Германии. На страницах журнала читатель увидит также и материалы, полученные по каналам самиздата из СССР.

Объем журнала 96 страниц большого формата.

Цена одного номера 6 немецких марок.

Стоимость годовой подписки 60 немецких марок.

Пересылка за счет редакции.

Подписка производится по адресу:

Das Land und die Welt e. V., Schellingstr. 48, 8000 Munchen 40,  
BRD

Подписная плата принимается в виде чека, почтовым

переводом или перечислением на банковский счет:  
Deutsche Bank BLZ 700 700 10, Konto-Nr.331 9613 или  
Postgiroamt Munchen BLZ 700 100 80, Konto-Nr. 223981 804.  
Справки по телефону (089) 272 18 99.

Ел.ГЛЕЗ

## НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА

(223 стр.)

*Ел.Глез (Илья Исаакович Глезер) — по профессии и по призванию прежде всего биолог. Большую часть своей жизни он провел в Москве, и его труды в области строения нервной системы получили международное признание.*

*В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки.*

Книга "Невидимые письма" — это воспоминания Глезера об этих шести годах. Однако воспоминания не совсем обычные. Лагерная тема, уже так много раз присутствовавшая в нашей литературе, в его книге получила неожиданное освещение.

Ее первая часть "Лефортовские сказания" — это прежде всего раздумья автора над судьбой еврея вообще. Потому так логичны библейские реминисценции и мотивы, которые он вводит в текст. А форма писем, которую избрал автор, придает его воспоминаниям интимную, камерную интонацию.

Вторая часть — "Богучанские чаепития" посвящена годам ссылки. Главный герой ее не столько сам автор, сколько русские люди, с которыми пришлось столкнуться Илье Глезеру в ссылке. Яркие, колоритные характеры сибиряков надолго запомнятся читателям.

Казалось бы, воспоминания, даже беллетризованные, но посвященные лагерю и ссылке, не могут носить оптимистического характера. И тем не менее "Невидимые письма" написаны оптимистом.

*Оформил "Невидимые письма" тоже оптимист. Имя его Вагрич Бахчанян.*

Стоимость книги 12 долларов. Плюс 1 дол. за пересылку.

Заказы и чеки направлять по адресу:

I.Glezer  
106 Pinehurst ave. , A-34  
New York, New York  
10033

## "ВРЕМЯ И МЫ" - 1984

### УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We  
475 Fifth Ave, suite 511-a, New York, New York 10017  
Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

## "ВРЕМЯ И МЫ" - 1984 ГОД

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . .

Имя . . . . .

Адрес . . . . .

Подписной период . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на . . . . . год. Высылать с номера . . . . .

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись . . . . .

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.  
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**MAIN OFFICE:  
475 Fifth Ave, suite 511 a, New York, N.Y. 10017**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, март 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

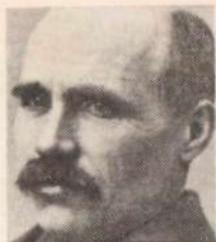
**На первой и четвертой страницах обложки — портреты двадцати пяти писателей — авторов романа "Большие пожары".**



Гл.7. Никифоров  
Рыжий конь



Гл.13. А. Яковлев  
Человек прошлого



Гл.12. А. Новиков-  
Прибой. Страшная ночь



Гл.24. Е. Зозуля  
Последний герой



Гл.8. В. Лидин  
Разговор в отеле



Гл.4. С. Буданцев  
Творчество Кулакова



Гл.11. А. Зорич  
Двойник



Гл.14. Б. Лавренев  
Выпавшее звено



Гл.15. К. Федин  
Сегодня и завтра



Гл.10. Ф. Березовский  
Предчувствия



Гл.25. М. Кольцов  
Прибыли и убытки



Гл.2. Л. Никулин  
Большая жемчужина



Гл.16. Н. Ляшко  
Сарочка Мабель



Гл.6. Ю. Либединский  
Пять героев



Гл.23. А. Арсов  
Марсианин